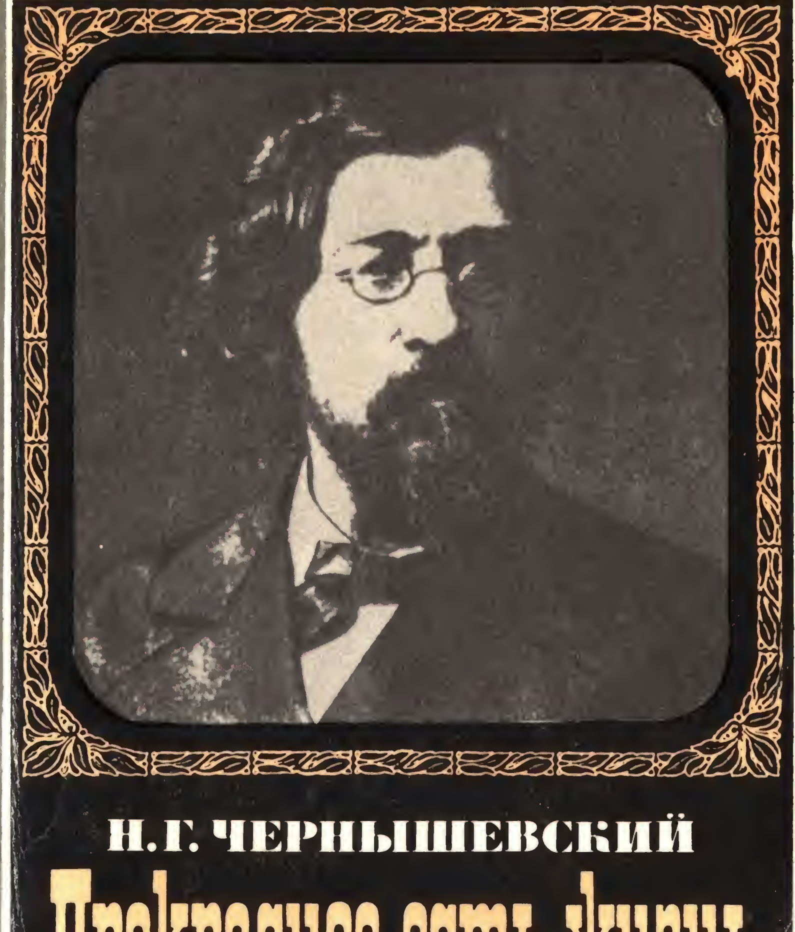


Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Прекрасное есть жизнь

Издательство «Молодая гвардия» выпускает серию «Компас» для тех, кто вступает в жизнь, кому от 14 до 17 лет. Книги серии вы узнаете по графическому знаку.

Ваши отзывы и пожелания присылайте нам по адресу: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21, издательство «Молодая гвардия», серия «Компас».





БУДУЩЕЕ СВЕТЛО И ПРЕКРАСНО.
ЛЮБИТЕ ЕГО, СТРЕМИТЕСЬ К НЕМУ,
РАБОТАЙТЕ ДЛЯ НЕГО,
ПРИБЛИЖАЙТЕ ЕГО,
ПЕРЕНОСИТЕ ИЗ НЕГО В НАСТОЯЩЕЕ,
СКОЛЬКО МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ





Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Прекрасное есть жизнь



МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1978

87.3(2)
Ч—49

Составление, вступительная статья, примечания доктора философских наук профессора П. А. МЕЗЕНЦЕВА

Ч $\frac{70803-182}{078(02)-78}$ 223—78

ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, ПИСАТЕЛЬ

150 лет прошло уже с того времени, когда родился Николай Гаврилович Чернышевский — великий ученый, революционер, человек высокого духа. Однако он и сейчас кажется нашим современником. Каждый, кто стремится стать настоящим человеком, кто «гражданином быть обязан», берет его в учителя.

Эта книга поможет в самообразовании юношам и девушкам, вступающим в серьезную жизнь. В ней в сжатой форме представлено наследие Чернышевского — философа, писателя, критика, его статьи, очерки, отрывки из романов, письма.

Подлинные тексты писателя покажут нам, как представлял себе Чернышевский будущее, что он думал о социализме и коммунизме, о семье, о женщине при этом общественном строе. Раздел «Прекрасное есть жизнь» убедит нас в глубине, широте и жизненности взглядов Чернышевского на искусство и жизнь, поможет нам сверить свой взгляд на прекрасное с точкой зрения писателя.

Яркая, многогранная личность Чернышевского предстает в его письмах и дневниках. Письма жене и детям полны размышлений о смысле жизни, о счастье, об идеалах.

●

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 (24) июля 1828 года в Саратове, в семье священника. С ранних лет Чернышевский нашел в своем отце умного наставника, руководившего самостоятельными занятиями сына. Чернышевский в своих письмах неизменно выражал глубокую любовь и великое уважение к отцу и с годами все больше ценил его доброе сердце и трезвый разум. Он делился с отцом своими замыслами, держал его в курсе своих дел и начинаний. Нежен и заботлив был в отношении к матери и всем своим родным.

С детских лет Чернышевский очень много читал, был настоя-

щим «пожирателем книг». Особенно любил Пушкина и Гоголя, знал наизусть чуть не все стихотворения Лермонтова. В то же время систематически изучал языки: греческий, латинский, немецкий, французский, татарский, арабский и другие.

С 14 до 18 лет он учился в местной духовной семинарии, где проявил блестящие способности и неутомимое прилежание. Родители мечтали дать сыну университетское образование. Это было стремление и самого Чернышевского, который вскоре стал настойчиво готовиться к вступительным экзаменам в университет.

В июне 1846 года вместе с матерью он приехал в Петербург, чтобы поступить в столичный университет. Необходимо было сдать экзамены по математике, физике, логике, словесности (литература и язык), всеобщей и русской истории, латинскому, французскому, немецкому языкам и некоторым другим предметам. Чернышевский успешно выдержал экзамены, и 14 августа его зачислили в университет.

Еще будучи семинаристом, начал он пробовать свои силы в научной работе, стал следить за развитием отечественной философской и эстетической мысли. В журнале «Отечественные записки» он читал труды В. Г. Белинского и А. И. Герцена, изучал сочинения Гегеля и Фейербаха, знаменитого социалиста-утописта Шарля Фурье и др. Интересы его были необычайно широки, он поражал товарищей энциклопедичностью своих знаний.

Чтение для Чернышевского было средством понимания того, что происходит в реальной жизни. Его мысль от книги обращалась к живым людям, их положению, их страданиям и надеждам. Скоро главным вопросом, над которым задумался студент Чернышевский, стал вопрос о народе, закрепощенном помещиками и угнетенном царскими властями, вопрос о путях освобождения миллионных масс и завоевания в России свободы. Большое влияние на развитие идей Чернышевского оказали его общение с передовой молодежью того времени, особенно с петрашевцами, и революционные события в Европе 1848 года. В своих дневниках, которые Чернышевский вел долгие годы по особой стенографической системе, он писал, что в 1848—1850 годах он осознал себя «красным республиканцем» и «ультрасоциалистом», человеком, который жаждет освобождения русского народа и страстно ожидает народной революции.

В университетские годы Чернышевский слыл среди товарищей как человек мягкий, скромный с близкими и суровый с теми, кто ему внутренне чужд, как неутомимый искатель истины, готовый с каждым поделиться своими знаниями, поисками, как человек, мало придававший значения материальным удобствам.

По окончании университета (1850 г.) Чернышевский после не-

удачных попыток устроиться на службу в столице уезжает в родной Саратов: там было место старшего учителя словесности в гимназии.

Как и следовало ожидать, он стал учителем особого типа, на уроках своих он от фактов литературных смело переходил к объяснению фактов современной жизни и исторического прошлого, стремясь разбудить политическую мысль в юношах, «душа которых еще не умерла, еще не окоченела». Деятели русской педагогики признают в Чернышевском выдающегося педагога.

Одновременно с преподаванием Чернышевский продолжал заниматься научной работой с мыслью написать и защитить диссертацию.

В Саратове произошло знаменательное событие в личной жизни Чернышевского: он познакомился с Ольгой Сократовной Васильевой, дочерью местного врача. В своих записях, которые Чернышевский назвал «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье», есть такая запись. Объяснившись в своем глубоком чувстве к Ольге Сократовне, он стал отговаривать ее от решения соединить свою судьбу с его судьбой. Казалось бы, странно? Но Чернышевский не хотел подвергать жизнь любимой женщины тяжелым испытаниям. «У меня, — говорил он невесте, — такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что вот явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою — я такие вещи говорю в классе». И еще сказал Чернышевский: «...У нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем». И прибавил: «Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

Как же отнеслась к этой исповеди невеста Чернышевского? Может быть, усомнилась в том, что услышала? Может быть, ее испугала перспектива участия Чернышевского в «мужицком бунте»? Нет, она решила пойти вместе с Чернышевским опасным и тернистым путем революции.

Определяя свои отношения с будущей женой, Чернышевский записал в дневнике: «Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена на одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть ее на другую сторону. Так и теперь: женщины ниже мужчин. Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства».

В январе 1853 года они познакомились, а в апреле того же года вступили в брак и в мае уехали в Петербург. 53

В Петербурге Чернышевский вел преподавательскую работу, печатал свой научный труд «Опыт словаря к Ипатьевской летописи», писал рецензии в журнал «Отечественные записки», затем очень на-

пряженно стал работать над диссертацией на тему «Эстетические отношения искусства к действительности».

Осенью 1853 года произошло еще одно важное событие в жизни Чернышевского: он познакомился с Н. А. Некрасовым и начал писать для журнала «Современник» (его издавали Н. А. Некрасов и И. И. Панаев) критические статьи и рецензии на книги по самым различным отраслям знаний. В течение полутора-двух лет Чернышевский стал ведущим критиком «Современника» и затем его идейным руководителем. Вместе с приглашенным в журнал Н. А. Добролюбовым Чернышевский — при полном содействии Некрасова — превратил этот журнал в орган русской революционно-демократической мысли. Самые передовые и наиболее талантливые писатели сплотились вокруг «Современника», и журнал стал оказывать большое прогрессивное влияние на русское общество.

А тем временем были сданы все экзамены, предшествующие защите диссертации, и 10 мая 1855 года Чернышевский публично защитил ее в совете Петербургского университета. Присутствовавший на диспуте Н. В. Шелгунов впоследствии писал о диссертации и ее защите Чернышевским: «Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство». Идеи, высказанные в этом научном труде и в критических статьях Чернышевского, сыграли важную роль в укреплении и развитии в русской литературе, музыке и живописи принципов реализма, высокого гражданского пафоса и народности.

Восемь с половиной лет проработал Чернышевский в «Современнике». На страницах этого журнала печатались статьи его по вопросам философии, эстетики, большое исследование о великом немецком просветителе Лессинге и о великом русском мыслителе и критике В. Г. Белинском, статьи о творчестве И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина. Когда по почину самого царя Александра II началось обсуждение вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости (царь боялся, что этот вопрос могут решить сами крестьяне путем народного восстания), Чернышевский опубликовал в «Современнике» несколько статей в защиту интересов крестьян. Его программа противостояла всевозможным либеральным проектам освобождения крестьян без земли и той буржуазно-помещичьей реформе, которую готовило царское правительство.

Н. Чернышевский пропагандировал в своих статьях в «Современнике» идею крестьянской революции. Пропагандировал в условиях цензурного гнета и жестоких преследований вольной мысли. Он делал это при помощи «эзопова языка», то есть посредством иносказаний, намеков, тонких уподоблений, сравнений и т. п. Он писал, например, что каждый год русские бабы и девки занимают-

ся прополкой сорной травы, а трава вырастает вновь и вновь. И так будет до тех пор, пока их мужья и братья не догадаются, не убедятся в том, что с сорной травой можно покончить только «глубокою пропашкой». Или, рассуждая о том, как изменить «дурное состояние нашего земледелия», Чернышевский писал, что наука в отличие от знахарей, которые употребляют при лечении болезни припарки, лепешки и т. п., требует не лечения какого-нибудь местного поражения организма, а лечения всего организма: «больной должен изменить весь образ жизни, чтобы исправился расстроившийся процесс организма».

Чернышевский, говорил В. И. Ленин, «умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей». Когда царское правительство объявило свою грабительскую реформу 1861 года, Чернышевский намеревался обратиться к массам с революционной прокламацией (издав ее в тайной типографии) «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Он объяснял народу, что реформа проведена в интересах помещиков. Так оно и должно было случиться, потому что реформу проводили сами помещики во главе с главным помещиком — царем. А волк за волка стоит. Чтобы покончить с волками, то есть помещиками и чиновниками, надо подняться всем народом и завоевать себе новую жизнь. Прокламация призывала крестьян сговариваться между собой и ждать общего сигнала от своих доброжелателей.

Вся передовая часть общества — студенты, писатели, офицеры, ученые, захваченные духом революционной ситуации, сложившейся в то время в России, — так или иначе находились под влиянием Чернышевского. Они вступали с ним в личные отношения, писали и присылали в «Современник» материалы, советовались, защищали его в печати от озлобленных реакционных нападок.

Царские власти увидели, что Чернышевский является «коноводом» всей революционно настроенной молодежи, вдохновителем боевого направления журнала «Современник». И оно учредило за ним надзор, собирая против него обличающие факты и доносы агентов Целый год в обществе ходили тревожные слухи о его аресте, а взбешенные реакционеры обращались к властям с требованием «избавить» их от Чернышевского. Третье отделение характеризовало Чернышевского как человека, известного «своими коммунистическими убеждениями».

7 июля 1862 года Чернышевского арестовали и увезли в Петропавловскую крепость (сбылось его пророческое предсказание). Почти два года держали Чернышевского в мрачном Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Сначала не могли предъявить

никаких обвинений. Затем были сфабрикованы фальшивые документы, подкуплены фальшивые свидетели и предъявлены обвинения за идеи, высказанные им в статьях в журнале «Современник».

Несмотря на подлог и на совершенно несостоятельные в юридическом отношении обвинения (по царским законам нельзя было судить автора за статьи, пропущенные цензурой), сенат вынес строжайший приговор: лишение всех прав состояния, четырнадцать лет каторги и вечное поселение в Сибири. Царь сократил срок каторги до семи лет. Общество было ошеломлено таким решением. Прогрессивные люди возмущались и негодовали. Семнадцатилетняя гимназистка Любовь Коведяева обратилась с письмом к царю, предлагая свою жизнь за освобождение Чернышевского! «Делайте со мной все, что хотите, только спасите, спасите Чернышевского!» — писала она. Письмо осталось без ответа.

19 мая 1864 года над Чернышевским был совершен обряд «гражданской казни», и на другой день его увезли в Сибирь на каторжные работы.

И в петропавловском одиночном заключении, и на допросах в следственной комиссии, и в сенате Чернышевский держался мужественно, твердо, с великим достоинством, а когда ему перед «гражданской казнью» публично читали приговор, «преступник, — как докладывал жандармский полковник своему начальству, — стоял надменно, обращая взгляды на публику».

Когда истек срок пребывания Чернышевского на каторге, его, вместо того чтобы определить на поселение, продержали в каторжной тюрьме еще полтора года, а потом перевезли к полюсу холода, в Вилюйск, и посадили в острог, где он содержался по специально разработанной инструкции.

●

Где бы ни был Чернышевский, в какие бы жестокие условия ни ставило его царское самодержавие, он везде делал революционное дело, которому посвятил жизнь. В Петропавловской крепости великий борец написал роман «Что делать?». Само название романа уже говорило о постановке главного вопроса времени: что делать людям для завоевания лучшего будущего. Его герои — Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна, Рахметов — были носителями идей автора о переустройстве мира; язык, которым написан роман, его художественные средства, его форма подчинены тому, чтобы сквозь тройную цензуру донести до читателя революционные мысли. Самые светлые страницы романа, полные веры в новую жизнь, написаны в дни голодовки, объявленной Чернышевским в знак протеста против беззакония царских властей.

Роман «Что делать?» стал властителем дум передовой русской

интеллигенции. В. И. Ленин говорил: «Под его влиянием сотни людей делались революционерами... Он, например, увлек моего брата, он увлек и меня. *Он меня всего глубоко перепахал...* Это вещь, которая дает заряд на всю жизнь».

Жизнь Чернышевского на каторге в Кадае, на Нерчинских рудниках, а потом в Вилюйске — пример мужества и стойкости. Он продолжал писать, переводить, обдумывать исторические судьбы России и всего человечества; он задумал целый цикл художественных произведений о русской жизни. Самым замечательным из написанного в эти годы является роман «Пролог» — о революционных русских демократах и их борьбе за интересы народа.

Несколько раз русские революционеры пытались освободить Чернышевского. Одна из попыток, предпринятая Г. А. Лопатиным, была совершена под влиянием бесед Лопатина с Марксом, который очень высоко ценил Чернышевского и говорил, что «политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы...». Царские власти бдительно охраняли своего опаснейшего противника, боясь его исключительного влияния на молодую Россию.

В письмах из Сибири Чернышевский неизменно бодр и спокоен, никого не расстраивает жалобами. Вместе с тем письма его полны забот о жене и детях. Он делится своими знаниями с сыновьями, дает им советы, как жить и чем надо заниматься. Ольгу Сократовну всегда называет другом, беспокоится о ее здоровье, восхищается ее характером («Милая радость моя, — писал он, — благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя»).

Он был горд своим революционным жребием и едва ли бы захотел вычеркнуть из своей судьбы годы страшных испытаний. «За тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других, — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».

Лишь летом 1883 года новый царь Александр III под давлением общественности разрешил больного цингой и ревматизмом Чернышевского перевести в Астрахань, а затем, за несколько месяцев до смерти, в Саратов. Здесь, в родном городе, в ночь на 17 (29) октября 1889 года скончался великий революционер, мыслитель, писатель, литературный критик.

«Я ученый. Я один из тех ученых, которых называют мыслителями». Так писал Чернышевский своим детям. Труд ученого, исследование истины он считал большим наслаждением и счастьем.

Нередко утренняя заря незаметно для него самого сменяла в его кабинете свет тусклых свечей. Он работал всю свою жизнь, независимо от того, в каких условиях находился: в тюремной камере, в каторжной тюрьме или в кабинете издателя «Современника». Его всегда страстно увлекали естественные науки; немало дней и ночей просидел он над изобретением вечного двигателя, а в вилюйский период серьезно занимался геометрией и высшей математикой. Лингвистические исследования Чернышевского печатались в трудах Академии наук, а студенческие сочинения по-латыни принимались тогдашними специалистами за сочинения античных авторов. Одним из первых в России он ратовал за сравнительное изучение языков. Сам пользовался в научных занятиях греческим, латинским, английским, немецким, французским, славянским и древнерусским, сербским, чешским и древнееврейским.

Круг его научных интересов почти безграничен: история России и всеобщая история, политическая экономия, эстетика, философия, теория социализма, история русской литературы, литература народов Европы и всего мира, наконец, литературная критика. Современник и соратник Чернышевского Н. В. Шелгунов писал о нем: он прочитал все, он знал все, он помнил все.

Маркс называл его «великим русским ученым и критиком», а Энгельс писал, что такие люди, как Чернышевский, олицетворяют величие породившего их народа.

В беседе с С. И. Гусевым, В. В. Воровским, Н. В. Валентиновым В. И. Ленин говорил, вспоминая свои юные годы: «Моим любимейшим автором был Чернышевский. Все напечатанное в «Современнике» я прочитал до последней строчки, и не один раз. Благодаря Чернышевскому произошло мое первое знакомство с философским материализмом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в развитии философской мысли, и от него пришло понятие о диалектическом методе, после чего было уже много легче усвоить диалектику Маркса. От доски до доски были прочитаны великолепные очерки Чернышевского об эстетике, искусстве и литературе и выяснилась революционная фигура Белинского. Прочитаны были все статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, его примечания к переводу политической экономии Милля, и так как Чернышевский хлестал буржуазную экономическую науку, это оказалось хорошей подготовкой, чтобы позднее перейти к Марксу. С особенным интересом и пользой я читал замечательные по глубине мысли обзоры иностранной жизни, писавшиеся Чернышевским. Я читал Чернышевского «с карандашиком» в руках, делая из прочитанного большие выписки и конспекты. Тетрадки, в которые все это заносилось, у меня потом долго хранились. Энциклопедичность знаний Чернышевского, яркость его революционных взглядов, беспощадный по-

лемический талант — меня покорили. Узнав его адрес, я даже написал ему письмо и весьма огорчился, не получив ответа. Для меня была большой печалью пришедшая через год весть о его смерти. Чернышевский, придавленный цензурой, не мог писать свободно. О многих взглядах его нужно было догадываться, но если подолгу, как я это делал, вчитываться в его статьи, приобретается безошибочный ключ к полной расшифровке его политических взглядов, даже выраженных иносказательно, в полунамеках. Существуют музыканты, о которых говорят, что у них абсолютный слух, существуют другие люди, о которых можно сказать, что они обладают абсолютным революционным чутьем. Таким был Маркс, таким же и Чернышевский...»

Свои философские взгляды Чернышевский наиболее систематически изложил в работах «Антропологический принцип в философии» и «Характер человеческого знания». В той или иной степени они освещаются и во многих других сочинениях. Даже в письмах к своим сыновьям — Мише и Саше — Чернышевский излагал свой материалистический принцип понимания природы:

«То, что существует, называется материею. Взаимодействие частей материи называется проявлением качеств этих разных частей материи. А самый факт существования этих качеств мы выражаем словами «материя имеет силу действовать» — или, точнее, «оказывать влияние». Когда мы определяем способ действия качеств, мы говорим, что мы находим «законы природы».

Чернышевский сравнивал природу с книгой, которая заключает в себе всю истину, но она написана языком, которому нужно учиться. Человеческое мышление способно создать грамматику языка природы.

Идеализм, считал Чернышевский, «не соответствует нынешнему состоянию знаний». Не соответствует он и тем понятиям о мире, которые складываются у простого народа («простолюдинов») под влиянием реальной жизни. Идеализм вырабатывается и поддерживается в среде господствующих сословий и классов, живущих чужим, а не своим трудом. Материалистические убеждения стихийно, под влиянием жизни возникают в сознании трудовой массы: «Благодаря своей здоровой натуре, своей суровой житейской опытности... простолюдин в сущности понимает вещи лучше, вернее и глубже, чем люди более счастливых классов».

В статье «Характер человеческого знания» Чернышевский одним из первых в Европе подверг критике «иллюзионизм»: так он назвал модное в те времена философское учение, получившее название «махизм». Он высмеял это учение, показал, что оно совершенно несостоятельно, противоречит всем данным науки и практической жизни, что оно реакционно по своей сути.

Из самой глубокой системы идеалистической философии, фило-

софии Гегеля, Чернышевский стремился взять и по-научному переработать лишь самое живое и важное: диалектику, то есть учение о развитии, о противоречиях всего сущего, которые являются источником развития, перехода из одного состояния в другое, превращения количественных изменений в изменения качественные. Он высоко ценил Гегеля как великого диалектика. Однако в отличие от Гегеля Чернышевский нередко соединял диалектику с жизнью, с идеей классовой борьбы, предсказывая победу угнетенных масс над эксплуататорами и эксплуататорским строем.

Вообще анализ явлений общественной жизни, характеристика классов и партий, исторических личностей, постановка национального вопроса, освещение «расовой» проблемы поражают в трудах Чернышевского своей истинностью, глубиной и масштабностью. В основе политических, философских, эстетических споров и разногласий Чернышевский видел столкновение коренных интересов классов, сословий, больших социальных групп. «Разделение общества, основанное на материальных интересах, отражается и в политической деятельности... — писал он. — Различие сословий по материальному положению производит разницу и в их умственной жизни».

Решительно отверг Чернышевский «теории» ученых, служащих эксплуататорским классам, относительно превосходства в умственном отношении эксплуататоров над народной массой. Он доказывает, что все качества человека приобретаются исторически, все его развитие, способности, знания и умения даются ему жизнью, обстоятельствами, в которых живет каждый человек. Именно обстоятельства, образ жизни порождают серьезнейшие различия между трудящимися и господствующими сословиями в пределах одной и той же нации. Дело доходит до того, что одна часть нации имеет больше сходства в умственном и нравственном отношениях с подобной частью другой нации, чем со своим народом: «Португальский вельможа по образу жизни и по понятиям гораздо более похож на шведского вельможу, чем на земледельца своей нации». Человек с такими понятиями не мог не быть принципиальным врагом национализма. И таким Чернышевский был в своих сочинениях и в своей жизни. В предисловии к русскому переводу «Всеобщей истории» Г. Вебера он спокойно, но твердо отверг рассуждения немецкого историка «о превосходстве немецкой нации над итальянскою, французскою и английскою» и назвал отвратительным восхищение Вебера военными походами немцев в Италию.

Чернышевский в своем понимании истории общества не смог подняться до диалектического и исторического материализма. Точнее, он не мог этого сделать в силу отсталости тогдашней крепостнической России. Его мысли были заняты участью крестьянства. Истинно научную и всеобъемлющую философию природы и об-

щества могли создать лишь идейные выразители рабочего класса, единственного до конца революционного класса, способного объединить вокруг себя всех угнетенных на борьбу за социалистические преобразования основ общественной жизни. Современник Маркса и Энгельса, Чернышевский оказался их гениальным предшественником.

●

В силу отсталости русской жизни Чернышевский в учении об обществе остался на позициях утопического социализма.

Из всех социалистов-утопистов прошлого он ближе всех подошел к научному социализму Маркса — Энгельса, и все-таки его учение было несбыточным, таким, которое не могло быть реально воплощено. Он намного превосходил социалистов-утопистов Европы. Недаром в его сочинениях развернута острая критика западноевропейских социалистов за произвольное фантазирование о социализме, за то, что они (Сен-Симон, Шарль Фурье и др.) воображали возможным переход к социализму без борьбы классов.

Из анализа социально-классовых отношений его эпохи и общего направления исторического развития Чернышевский сделал вывод, что социализм не выдумка благородных защитников угнетенных масс, не фантазия, не счастливая мечта. Социализм есть «историческая необходимость», он неодолимо вырастает из экономического развития общества. Лишь простому народу «одному выгодно и нужно устройство, называющееся социалистическим». И потому путь к социализму лежит через упорную и долгую борьбу. Читая подобные рассуждения Чернышевского, Маркс писал на полях своих конспектов: «Браво!»

Замечательно, что в Европе победу социализма Чернышевский связывал с ростом, развитием и мужанием рабочего класса. Он писал о Лионском восстании 1831 года, о восстании парижских рабочих в 1848 году и предсказывал новые битвы. Он писал: «Волнения возникли от недовольства городских работников своим экономическим положением. Из этого начала не ясен ли конец? Промышленная деятельность Франции с каждым годом увеличивается, следовательно, возрастает и число работников. С тем вместе они становятся год от году просвещеннее. Не ясно ли, что они приобретают силу предъявить свои требования с большей настойчивостью, с большей расчетливостью, следовательно, с большим успехом? Не ясно ли, что победы старого порядка вещей над ними могут быть только мимолетными задержками окончательного торжества новых экономических интересов?»

Движение истории к социализму Чернышевский представлял

как общий закон прогресса, а не в виде достояния какого-либо народа, особо «склонного» к социалистическому устройству общества.

Что касается победы социализма в России, то Чернышевский связывал ее с крестьянской революцией, которая должна была, по его мысли, привести страну к социализму, минуя капитализм. Экономической базой социализма в России он считал крестьянскую общину. В этом утопичность учения Чернышевского о социализме в России.

Свое учение о социализме Чернышевский развивал, непрестанно, остро и глубокомысленно критикуя капитализм, его экономические основы, его политику, буржуазную демократию, семью и нравы. Каждая строчка таких его работ, как «Основания политической экономии», «Очерки из политической экономии (по Миллю)», «Капитал и труд», «Июльская монархия», «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X», «Кавеньяк», «Франция при Людовике-Наполеоне», каждая строка этих произведений, критикующих буржуазные порядки, так жива, остра, полна такой правды и гнева, что кажется, будто она написана современным талантливейшим публицистом! О нем можно сказать словами, которые сказаны им о великом социалисте-утописте Сен-Симоне:

«Повсюду вокруг себя он видел ожесточенную борьбу: борьбу производителей между собою за сбыт товаров, борьбу работников между собою за получение работы, борьбу фабриканта с работником за размер платы, борьбу бедняка против машины, отнимающей у него прежнюю работу и прежний кусок хлеба; эта война называется конкуренциею, и нас уверяют, что она приносит больше пользы, чем вреда, очень может быть; но страдания, ею приносимые, неизмеримо велики, потому что она губит всех слабейших в каждом звании, в каждом промысле».

Недаром В. И. Ленин называл Чернышевского «замечательно глубоким критиком капитализма».

Все то, что писал Чернышевский о борьбе «наемных рабочих» за социализм в Европе, о перипетиях этой борьбы и неизбежной победе социализма, нисколько не утопично, все это верно, в высшей степени актуально в нашу эпоху. Отрывки из статей, которые представлены в этой книге, убеждают нас в этом.

●

Чернышевский вошел в историю русской литературы как критик и теоретик литературы, как крупнейший писатель.

В «Эстетических отношениях искусства к действительности» и ряде других работ он доказал, что литература и искусство отражают реальную жизнь и объясняют ее суть и законы развития. Поэто-

му они выполняют благородную миссию — являются для каждого «учебником жизни». Искусство и литература воспроизводят жизнь в жизненно ярких образах, волнующих чувства и мысль людей.

Но значение искусства не исчерпывается ни тем, что оно воспроизводит правду жизни, ни тем, что оно дает высокое эстетическое наслаждение. Литература и искусство являются орудием преобразования действительности, средством широкого распространения в обществе передовых идей. Это была одна из самых глубоких и вместе с тем одна из самых дорогих Чернышевскому идей.

Литература должна выносить приговор несообразным, несправедливым формам общественной жизни и развивать в людях стремление изменить жизнь. Эти идеи были особенно важны в России, где в условиях самодержавия, в условиях политического гнета в литературе сосредоточивалась духовная жизнь общества, литература была чуть ли не единственным средством выражения протеста и стремлений к лучшему. Поэтому Чернышевский писал в «Очерках гоголевского периода русской литературы»: «Как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно». И он стремился поднять русскую литературу и искусство на уровень высочайших освободительных идей своего времени.

Чернышевский — принципиальный противник всевозможных теорий «чистого искусства», не заинтересованного в жизни, формалистического, безыдейного, бессмысленного искусства. В своих критических статьях он беспощадно издевался над теоретиками и практиками такого рода искусства и литературы и доказывал, что сторонники «чистого искусства» хотят лишь такого искусства, которое воспевало бы эпикурейский образ жизни, было бы замкнуто в тесном кругу приятных господам тем.

Чернышевский призывал писателей-современников быть правдивыми, честными и смелыми в своем творчестве, глубоко реалистически изображать общественную жизнь, служить своим талантом угнетенному народу и его борьбе за свободу. Он высоко поднимал реализм Гоголя, воодушевлял музу мести и печали Некрасова, указал Островскому верный путь творчества, подвергнув критике его временные славянофильские заблуждения. Молодые Салтыков-Щедрин и Лев Толстой получили его благословение на славное поприще народных писателей. Он писал: «Если слово писателя одушевлено идеею правды, стремлением к благотворному действию на умственную жизнь общества, это слово заключает в себе семена жизни, оно никогда не будет мертво».

Эстетические и литературно-критические идеи великого революционера имели не только историческое значение. Они и теперь учат нас правильному пониманию сущности и социального значения художественного творчества, помогают нам раскрывать реакционную направленность всяких теорий формалистического искусства,

самоценных «приемов» и бессодержательной игры в слова и ритмы, в бессмысленные формы, звуки и краски.

Сам Чернышевский представляет собой образец высокоидейного писателя-реалиста. В сокровищницу русской классической литературы вошли роман Чернышевского «Что делать?», широко известный читателям, а также роман «Пролог», единственное открыто политическое произведение русской литературы XIX века. К сожалению, многие произведения писателя, написанные на каторге и в ссылке, погибли безвозвратно.

Велико, разнообразно и ценно оставленное нам идейное наследие Чернышевского. Бессмертен его подвиг во имя свободы родины и народа. Неизгладим след, оставленный им в истории русской культуры, в истории великой русской революции.

П. А. Мезенцев

Тексты произведений Н. Г. Чернышевского печатаются по изданию: Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в пятнадцати томах (М., ГИХЛ, 1939—1953) с соблюдением современного правописания.

Названия разделов книги взяты из произведений Чернышевского Названия подразделов принадлежат составителю.



„Жизнь и ее проявления-красота"



2*

ИЗ ДИССЕРТАЦИИ «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИСКУССТВА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» [1]

<СУЩНОСТЬ ПРЕКРАСНОГО — ПРЕКРАСНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ>

<. . . . .>

Новое строится не так легко, как разрушается старое, и защищать не так легко, как нападать; потому очень может быть, что мнение о сущности прекрасного, кажущееся мне справедливым, не для всех покажется удовлетворительным; но если эстетические понятия, выводимые из господствующих ныне воззрений на отношения человеческой мысли к живой действительности, еще остались в моем изложении неполны, односторонни или шатки, то это, я надеюсь, недостатки не самых понятий, а только моего изложения.

Ощущение, производимое в человеке прекрасным, — светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа *. Мы бескорыстно *любим* прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, как радуемся на милого нам человека. Из этого следует, что в прекрасном есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нечто чрезвычайно многообъемлющее, нечто способное принимать самые разнообразные формы, нечто чрезвычайно общее;

---

* Я говорю о том, что прекрасно по своей сущности, а не потому только, что прекрасно изображено искусством; о прекрасных предметах и явлениях, а не о прекрасном их изображении в произведениях искусства: художественное произведение, пробуждая эстетическое наслаждение своими художественными достоинствами, может возбуждать тоску, даже отвращение сущностью изображаемого.

потому что прекрасными кажутся нам предметы чрезвычайно разнообразные, существа, совершенно не похожие друг на друга.

Самое общее из того, что́ мило человеку, и самое милое ему на свете — *жизнь;* ближайшим образом такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить, чем не жить: все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение:

«ПРЕКРАСНОЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ»;

«прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни», — кажется, что это определение удовлетворительно объясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного. Проследим главные проявления прекрасного в различных областях действительности, чтобы проверить это.

«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна, — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать

«худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть; если сельская девушка толста, это род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица: уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки — они признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, — жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь — и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства; что делать? и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие того образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека, потому что и в довольстве и в роскоши плохо жить без

здоровья — вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она «много жила»?

Мила живая свежесть цвета,
Знак юных дней,
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей [2].

Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза.

Я пересмотрел, сколько позволяло место, главные

принадлежности человеческой красоты, и мне кажется, что все они производят на нас впечатление прекрасного потому, что в них мы видим проявление жизни, как понимаем ее. Теперь надобно посмотреть противоположную сторону предмета, рассмотреть, отчего человек бывает некрасив.

Причину некрасивости общей фигуры человека всякий укажет в том, что человек, имеющий дурную фигуру, — «дурно сложен». Мы очень хорошо знаем, что уродливость — следствие болезни или пагубных случаев, от которых особенно легко уродуется человек в первое время развития. Если жизнь и ее проявления — красота, очень естественно, что болезнь и ее следствия — безобразие. Но человек дурно сложенный — также урод, только в меньшей степени, и причины «дурного сложения» те же самые, которые производят уродливость, только слабее их. Если человек родится горбатым — это следствие несчастных обстоятельств, при которых совершалось первое его развитие; но сутуловатость — та же горбатость, только в меньшей степени и должна происходить от тех же самых причин. Вообще, худо сложенный человек — до некоторой степени искаженный человек; его фигура говорит нам не о жизни, не о счастливом развитии, а о тяжелых сторонах развития, о неблагоприятных обстоятельствах. От общего очерка фигуры переходим к лицу. Черты его бывают нехороши или сами по себе, или по своему выражению. В лице не нравится нам «злое», «неприятное» выражение потому, что злость — яд, отравляющий нашу жизнь. Но гораздо чаще лицо «некрасиво» не по выражению, а по самым чертам: черты лица некрасивы бывают в том случае, когда лицевые кости дурно организованы, когда хрящи и мускулы в своем развитии более или менее носят отпечаток уродливости, т. е. когда первое развитие человека совершалось в неблагоприятных обстоятельствах.

<ПРЕКРАСНОЕ В ПРИРОДЕ>

Совершенно излишне пускаться в подробные доказательства мысли, что красотою в царстве животных кажется человеку то, в чем выражается по человекообразным понятиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих животных, организация которых более близким образом сравнивается нашими глазами с наружностью человека, прекрасным кажется человеку округленность форм, полнота и свежесть; кажется прекрасным грациозность движений, потому что грациозными бывают движения какого-нибудь существа тогда, когда оно «хорошо сложено», т. е. напоминает человека хорошо сложенного, а не урода. Некрасивым кажется все «неуклюжее», т. е. до некоторой степени уродливое по нашим понятиям, везде отыскивающим сходство с человеком. Формы крокодила, ящерицы, черепахи напоминают млекопитающих животных, но в уродливом, искаженном, нелепом виде; потому ящерица, черепаха отвратительны. В лягушке к неприятности форм присоединяется еще то, что это животное покрыто холодною слизью, какою бывает покрыт труп; от этого лягушка делается еще отвратительнее.

Не нужно подробно говорить и о том, что в растениях нам нравится свежесть цвета и роскошность, богатство форм, обнаруживающие богатую силами, свежую жизнь. Увядающее растение нехорошо; растение, в котором мало жизненных соков, нехорошо.

Кроме того, шум и движение животных напоминают нам шум и движение человеческой жизни; до некоторой степени напоминают о ней шелест растений, качанье их ветвей, вечно колеблющиеся листочки их, — вот другой источник красоты для нас в растительном и животном царстве; пейзаж прекрасен тогда, когда оживлен.

Проводить в подробности по различным царствам природы мысль, что прекрасное есть жизнь, и ближай-

шим образом, жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни, я считаю излишним <...>. Потому, показав, что прекрасное в человеке — жизнь, не нужно и доказывать, что прекрасное во всех остальных областях действительности, которое становится в глазах человека прекрасным только потому, что служит намеком на прекрасное в человеке и его жизни, также есть жизнь.

Но нельзя не прибавить, что вообще на природу смотрит человек глазами владельца, и на земле прекрасным кажется ему также то, с чем связано счастие, довольство человеческой жизни. Солнце и дневной свет очаровательно прекрасны, между прочим, потому, что в них источник всей жизни в природе, и потому, что дневной свет благотворно действует прямо на жизненные отправления человека, возвышая в нем органическую деятельность, а через это благотворно действует даже на расположение нашего духа.

<. . . . .>

<ЧУВСТВО ПРЕКРАСНОГО И ЕГО ГРАНИЦЫ>

Прежде нежели подвергнем критике отдельные упреки, делаемые прекрасному в действительности, смело можно сказать, что оно истинно прекрасно и вполне удовлетворяет здорового человека, несмотря на все свои недостатки, как бы ни были они велики. Конечно, праздная фантазия может о всем говорить: «здесь это не так, этого недостает, это лишнее», но такое развитие фантазии, не довольствующейся ничем, надобно признать болезненным явлением. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были

лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство» — мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал все возможные достоинства и был чужд всех недостатков, какие от нечего делать может отыскать в предмете фантазия человека с холодным или пресыщенным сердцем. «Совершенство» для меня то, что для меня вполне удовлетворительно в своем роде. А таких явлений видит здоровый человек в действительности очень много. Когда у человека сердце пусто, он может давать волю своему воображению; но как скоро есть хотя сколько-нибудь удовлетворительная действительность, крылья фантазии связаны. Фантазия вообще овладевает нами только тогда, когда мы слишком скудны в действительности. Лежа на голых досках, человеку иногда приходит в голову мечтать о роскошной постели, о кровати какого-нибудь неслыханно драгоценного дерева, о пуховике из гагачьего пуха, о подушках с брабантскими кружевами, о пологе из какой-то невообразимой лионской материи, — но неужели станет мечтать обо всем этом здоровый человек, когда у него есть не роскошная, но довольно мягкая и удобная постель? «От добра добра не ищут». Если человеку пришлось жить среди сибирских тундр или в заволжских солончаках, он может мечтать о волшебных садах с невиданными на земле деревьями, у которых коралловые ветви, изумрудные листья, рубиновые плоды; но, переселившись в какую-нибудь Курскую губернию, получив полную возможность гулять досыта по небогатому, но сносному саду с яблонями, вишнями, грушами, мечтатель наверное забудет не только о садах «Тысячи и одной ночи», но и лимонных рощах Испании. Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда нет на деле не только хорошего дома, даже сносной избушки. Оно разыгрывается тогда, когда не заняты чувства; бедность действительной жизни — источник жизни в

фантазии. Но едва делается действительность сколько-нибудь сносною, скучны и бледны кажутся нам пред нею все мечты воображения. Мнение, будто бы «желания человеческие беспредельны», ложно в том смысле, в каком понимается обыкновенно, в смысле, что «никакая действительность не может удовлетворить их»; напротив, человек удовлетворяется не только «наилучшим, что́ может быть в действительности», но и довольно посредственною действительностью. Надобно различать то, что чувствуется на самом деле, от того, что только говорится. Желания раздражаются мечтательным образом до горячечного напряжения только при совершенном отсутствии здоровой, хотя бы и довольно простой пищи. Это факт, доказываемый всей историей человечества и испытанный на себе всяким, кто жил и наблюдал себя. Он составляет частный случай общего закона человеческой жизни, что страсти достигают ненормального развития только вследствие ненормального положения предающегося им человека, и только в таком случае, когда естественная и в сущности довольно спокойная потребность, из которой возникает та или другая страсть, слишком долго не находила себе соответственного удовлетворения, спокойного и далеко не титанического. Несомненно то, что организм человека не требует и не может выносить титанических стремлений и удовлетворений; несомненно и то, что в здоровом человеке стремления соразмерны с силами организма. С этой общей точки зрения перейдем на другую, специальную.

Известно, что чувства наши скоро утомляются и пресыщаются, т. е. удовлетворяются. Это справедливо не только относительно низших чувств (осязания, обоняния, вкуса), но также и относительно высших — зрения и слуха. С чувствами зрения и слуха неразрывно соединено эстетическое чувство и не может быть мыслимо без них. Когда у человека от утомления исчезает

охота смотреть на прекрасное, не может не исчезать и потребность эстетического наслаждения этим прекрасным. И если человек не может целый месяц ежедневно смотреть, не утомляясь, на картину, хотя бы рафаэлевскую, то нет сомнения, что не одни глаза его, но также и чувство эстетическое пресытилось, удовлетворено на некоторое время. Что достоверно относительно продолжительности наслаждения, то же самое должно сказать и об его интенсивности. При нормальном удовлетворении сила эстетического наслаждения имеет свои пределы. Если она иногда переходит их, это бывает следствием не внутреннего и натурального развития, а особенных обстоятельств, более или менее случайных и ненормальных (напр., мы особенно восторженно восхищаемся прекрасным, когда знаем, что скоро должны будем расстаться с ним, что не будем иметь столько времени наслаждаться им, сколько нам хотелось бы, и т. п.). Одним словом, нет, по-видимому, возможности подвергать сомнению факт, что наше эстетическое чувство, подобно всем другим, имеет свои нормальные границы относительно продолжительности и интенсивности своего напряженного состояния и что в этих двух смыслах нельзя называть его ненасытным или бесконечным.

Точно так же оно имеет границы — и довольно тесные — относительно своей разборчивости, тонкости, требовательности или так называемой жажды совершенства. Мы впоследствии будем иметь случай говорить, как многое, даже вовсе не первоклассное по красоте своей, удовлетворяет эстетическому чувству в действительности. Здесь мы хотим сказать, что и в области искусства разборчивость его в сущности очень снисходительна. За одно какое-нибудь достоинство мы прощаем произведению искусства сотни недостатков, даже не замечаем их, если только они не слишком безобразны. В пример довольно указать на бо̀льшую часть произведений римской поэзии. Не восхищаться Горацием, Виргилием, Овидием

может только тот, у кого недостает эстетического чувства. А сколько в этих поэтах слабых сторон! Собственно говоря, все в них слабо, кроме одного — отделки языка и развития мыслей. Содержания у них или вовсе нет, или оно самое ничтожное; самостоятельности нет; свежести нет; простоты нет; у Виргилия и Горация почти нигде нет даже искренности и увлечения. Но пусть критика указывает нам все эти недостатки — с тем вместе она прибавляет, что форма у этих поэтов доведена до высокого совершенства, и нашему эстетическому чувству довольно этой одной капли хорошего, чтобы удовлетворяться и наслаждаться. А между тем даже и в отделке формы у всех этих поэтов есть значительные недостатки: Овидий и Виргилий почти всегда растянуты; очень часто растянуты и горациевы оды; монотонность во всех трех поэтах чрезвычайно велика; часто неприятным образом бросается в глаза искусственность, натянутость. Нужды нет, все-таки остается в них нечто хорошее, и мы наслаждаемся. Как совершенную противоположность этим поэтам внешней отделки, можно привести в пример народную поэзию. Какова бы ни была первоначальная форма народных песен, но до нас доходят они почти всегда искаженными, переделанными или растерзанными на куски; монотонность их также очень велика; наконец, есть во всех народных песнях механические приемы, проглядывают общие пружины, без помощи которых никогда не развивают они своих тем; но в народной поэзии очень много свежести, простоты — и этого довольно для нашего эстетического чувства, чтобы восхищаться народною поэзиею.

Одним словом, как и всякое здоровое чувство, как всякая истинная потребность, эстетическое чувство имеет больше стремления удовлетворяться, нежели требовательности в претензиях; оно по своей натуре радуется удовлетворяясь, недовольно отсутствием пищи, потому готово удовлетворяться первым сносным предметом.

Малотребовательность эстетического чувства доказывается и тем, что, имея первоклассные произведения, оно вовсе не пренебрегает второклассными. Рафаэлевы картины не заставляют нас находить плохими произведения Грёза; имея Шекспира, мы с наслаждением перечитываем произведения второстепенных, даже третьестепенных поэтов. Эстетическое чувство ищет хорошего, а не фантастически совершенного. Потому, если бы в действительном прекрасном было очень много важных недостатков, мы все-таки удовлетворялись бы им.

<КРИТИКА УПРЕКОВ ПРЕКРАСНОМУ В МИРЕ> ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

<...> Но посмотрим ближе, до какой степени справедливы упреки, делаемые прекрасному в действительности, и до какой степени справедливы следствия, из них выводимые[3].

I. «Прекрасное в природе непреднамеренно; уже по этому одному не может быть оно так хорошо, как прекрасное в искусстве, создаваемое преднамеренно». — Действительно, неодушевленная природа не думает о красоте своих произведений, как дерево не думает о том, чтобы его плоды были вкусны. Но тем не менее надобно признаться, что наше искусство до сих пор не могло создать ничего подобного даже апельсину или яблоку, не говоря уже о роскошных плодах тропических земель. Конечно, преднамеренное произведение будет по достоинству выше непреднамеренного, но только тогда, когда силы производителей равны. А силы человека гораздо слабее сил природы, работа его чрезвычайно груба, неловка, неуклюжа в сравнении с работою природы. И потому в произведениях искусства превосходство со стороны преднамеренности перевешивается, и далеко перевешивается, слабостью их в исполнении. Притом же не-

преднамеренна красота только в природе бесчувственной, мертвой: птица и животное уже заботятся о своей внешности, беспрестанно охорашиваются, почти все они любят опрятность. В человеке красота редко бывает совершенно непреднамеренною: забота о своей наружности чрезвычайно сильна у всех нас. Разумеется, мы здесь говорим не об изысканных средствах подделывать красоту, а подразумеваем постоянные заботы о внешнем благообразии, которые составляют часть народной гигиены. Но если красота в природе в строгом смысле не может назваться преднамеренною, как и все действование сил природы, то, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы вообще природа не стремилась к произведению прекрасного; напротив, понимая прекрасное как полноту жизни, мы должны будем признать, что стремление к жизни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление к произведению прекрасного. Если мы должны вообще видеть в природе не цели, а только результаты, и потому не можем назвать красоту целью природы, то не можем не назвать ее существенным результатом, к произведению которого напряжены силы природы. Непреднамеренность (das Nichtgewolltsein), бессознательность этого направления нисколько не мешает его реальности, как бессознательность геометрического стремления в пчеле, бессознательность стремления к симметрии в растительной силе нисколько не мешает правильности шестигранного строения ячеек сота, симметрии двух половин листа.

II. «От непреднамеренности красоты в природе происходит то, что прекрасное редко встречается в действительности». Но, если бы и действительно было так, его малочисленность была бы прискорбна только для нашего эстетического чувства, нисколько не уменьшая красоты этого малочисленного ряда явлений и предметов. Алмазы величиною в голубиное яйцо попадаются очень редко; любители брильянтов могут справедливо жалеть о

том, и все-таки они соглашаются, что эти очень редкие алмазы прекрасны. Но жалобы на редкость прекрасного в действительности не совершенно справедливы; несомненно по крайней мере, что прекрасного в действительности вовсе не так мало, как утверждают немецкие эстетики. Прекрасных и величественных пейзажей очень много; есть страны, в которых они попадаются на каждом шагу, например, чтобы не говорить о Швейцарии, Альпах, Италии, укажем на Финляндию, Крым, берега Днепра, даже берега Волги. Величественное в жизни человека встречается не беспрестанно; но сомнительно, согласился ли бы сам человек, чтобы оно было чаще: великие минуты жизни слишком дорого обходятся человеку, слишком истощают его; а кто имеет потребность искать и силу выносить их влияние на душу, тот может найти случаи к возвышенным ощущениям на каждом шагу: путь доблести, самоотвержения и высокой борьбы с низким и вредным, с бедствиями и пороками людей не закрыт никому и никогда. И были всегда, везде тысячи людей, вся жизнь которых была непрерывным рядом возвышенных чувств и дел. То же самое должно сказать и об увлекательно-прекрасных минутах в жизни человека. Вообще нельзя человеку жаловаться на их редкость, потому что от самого человека зависит, до какой степени жизнь его наполнена прекрасным и великим.

Жизнь так широка и многостороння, что в ней человек почти всегда найдет досыта всего, искать чего чувствует сильную и истинную потребность. Пуста и бесцветна бывает жизнь только у бесцветных людей, которые толкуют о чувствах и потребностях, на самом деле не будучи способны иметь никаких особенных чувств и потребностей, кроме потребности рисоваться. Это потому, что дух, направление, колорит жизни человека придаются ей характером самого человека: от человека не зависят события жизни, но дух этих событий зависит от его

характера. «На ловца и зверь бежит». В заключение было бы надобно объясниться насчет того, что специально называется красотою, рассмотреть вопрос о том, до какой степени редкое явление женская красота. Но, быть может, это не совсем уместно в нашем отвлеченном трактате; ограничимся только замечанием, что почти всякая женщина в цвете молодости кажется большинству красавицею, — потому говорить здесь было бы можно разве о неразборчивости эстетического чувства большинства людей, а не о том, что красота редкое явление. Людей прекрасных лицом нисколько не меньше, нежели людей добрых, умных и т. д.

Как же объяснить жалобу Рафаэля на недостаток красавиц в Италии, классической стране красоты? Очень просто: он искал наилучшей красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна в целом свете, — и где же отыскать ее? Первостепенного в своем роде всегда очень мало, по очень простой причине: если его соберется много, то мы опять разделим его на классы и будем называть первостепенным то, чего найдется всего два-три индивидуума; все остальное назовем второстепенным.

И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы «прекрасное редко встречается в действительности», основана на смешении понятий «вполне» и «первое»: вполне величественных рек очень много, первая из величественных рек, конечно, одна; великих полководцев много, первым полководцем в мире был кто-нибудь один из них. Обыкновенно думают: если есть или может быть предмет *X* выше находящегося у меня под глазами предмета *А*, то предмет *А* низок; но так только думают, не так чувствуют в самом деле, и, находя Миссисипи величественнее Волги, мы продолжаем, однако, считать и Волгу величественной рекою. Обыкновенно говорится, что если один предмет больше другого, то превосходство первого над вторым есть недостаток другого: вовсе нет; в действительности недостаток есть нечто положительное, а не

нечто вытекающее из превосходства других предметов. Река, имеющая один фут глубины в некоторых местах, не потому считается мелкою, что есть реки гораздо глубже ее; она мелка без всяких сравнений, сама по себе, мелка потому, что неудобна для судоходства; канал, имеющий тридцать футов глубины, не мелок в действительной жизни, потому что совершенно удобен для судоходства; никому не приходит и в голову называть его мелким, хотя всякому известно, что Па-де-Кале далеко превосходит его своею глубиною. Отвлеченное математическое сравнение не есть взгляд действительной жизни. Потому, находя предмет *X* прекраснее *A*, мы в действительной жизни нисколько не перестаем находить прекрасным предмет *A*. Положим, что «Отелло» выше «Макбета» или «Макбет» выше «Отелло», — несмотря на превосходство одной из этих трагедий над другой, они обе остаются прекрасными. Достоинства «Отелло» не могут быть вменяемы в недостатки «Макбету», и наоборот. Так мы смотрим на произведения искусства. Если смотреть так же и на прекрасные явления действительности, то очень часто мы должны будем сознаться, что красота одного явления безукоризненна, хотя красота другого еще выше. И в самом деле, разве кто-нибудь называет итальянскую природу не прекрасною, хотя природа Антильских островов или Ост-Индии гораздо богаче? А только с подобной точки зрения, не находящей себе подтверждения в действительных чувствах и суждениях человека, и может эстетика утверждать, будто бы в мире действительности красота есть явление редкое.

III. «Красота прекрасного в действительности мимолетна». — Согласимся; но разве от этого она менее прекрасна? И притом это не всегда справедливо: цветок действительно увядает скоро, но человек долго остается прекрасным; можно даже сказать, что человеческая красота продолжается именно столько, сколько надобно человеку, ею наслаждающемуся. Не совсем, быть может,

соответствовало бы характеру нашего отвлеченного трактата вдаваться в подробное доказательство этого положения; поэтому скажем только, что красота каждого поколения существует и должна существовать для этого самого поколения; и нисколько не нарушает гармонии, нисколько не противно эстетическим потребностям этого поколения, если красота его увядает вместе с ним, — у последующих будет своя, новая красота, и жаловаться тут некому и не на что. Быть может, неуместно было бы здесь также вдаваться в подробные доказательства того, что желание «не стареть» — фантастическое желание, что на самом деле пожилой человек и хочет быть пожилым человеком, если только его жизнь прошла нормальным образом и если он не принадлежит к числу людей поверхностных. Но это ясно и без подробных доказательств. Все мы «с сожалением» вспоминаем о детстве, говорим иногда, что «хотели бы снова перенестись в то счастливое время»; но едва ли кто-нибудь согласился бы на самом деле превратиться в ребенка. То же самое должно сказать и относительно сожалений о том, что «прошла красота нашей юности», — эти слова не имеют реального значения, если юность прошла сколько-нибудь удовлетворительным образом. Пережитое было бы скучно переживать вновь, как скучно слушать во второй раз анекдот, хотя бы он казался чрезвычайно интересен в первый раз. Надобно различать действительные желания от фантастических, мнимых желаний, которые вовсе и не хотят быть удовлетворенными; таково мнимое желание, чтобы красота в действительности не увядала. «Жизнь стремится вперед и уносит красоту действительности в своем течении», говорят [Гегель и Фишер] — правда, но вместе с жизнью стремятся вперед, т. е. изменяются в своем содержании, наши желания, и, следовательно, фантастичны сожаления о том, что прекрасное явление исчезает, — оно исчезает, исполнив свое дело, доставив ныне столько эстетического наслаждения,

сколько мог вместить нынешний день; завтра будет новый день, с новыми потребностями, и только новое прекрасное может удовлетворить их. Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, «бессмертна», как того требуют эстетики, она бы надоела, опротивела бы нам. Живой человек не любит неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту, и очень скоро пресыщает его tableau vivant, которую предпочитают живым сценам исключительные поклонники искусства [презирающие действительность]. Но, по их мнению, красота должна быть однообразна в своей вечности, не только вечна; потому против прекрасного в действительности является новое обвинение.

IV. «Прекрасное в действительности непостоянно в своей красоте», — но на это надобно отвечать тем же самым вопросом, как и прежде: разве это мешает ему быть прекрасным по временам? Разве пейзаж менее прекрасен поутру оттого, что красота его померкнет на время с закатом солнца? И опять надобно сказать, что большею частью этот упрек несправедлив; положим, что есть пейзажи, красота которых пропадает с пурпурным озарением утренней зари; но большая часть прекрасных пейзажей прекрасны при всяком освещении; и надобно прибавить, что незавидна красота того пейзажа, который хорош только в данную минуту, а не во все время, пока существует. «Иногда физиогномия выражает всю полноту жизни, иногда она не выражает ничего», — нет; справедливо то, что иногда физиогномия бывает чрезвычайно выразительна, иногда она гораздо менее выразительна; но чрезвычайно редки минуты, когда физиогномия человека, светящаяся умом или добротою, бывает *лишена* выражения: умное лицо и во время сна сохраняет выражение ума, доброе лицо сохраняет и во сне выражение доброты, а беглое разнообразие выражения в лице выразительном придает ему новую красоту. Точно так же разнообразие поз придает новую красоту живому

существу. Очень часто бывает и то, что исчезновение прекрасной позы одно только и спасает ее драгоценность для нас: «группа сражающихся воинов прекрасна; но чрез несколько минут она уже расстроилась», а что́ было б, если б она не расстроилась, если бы схватка атлетов продолжалась целые сутки? Нам наскучило бы смотреть, и мы отвернулись бы, как это, впрочем, бывает часто в действительности. Чем обыкновенно кончается эстетическое впечатление, под влиянием которого держит нас полчаса или час неподвижная, «вечно прекрасная», «вечно неизменная в красоте своей» картина? — Тем, что мы уходим сами, не дождавшись, пока нас «оторвет от наслаждения» мрак вечера.

V. «Прекрасное в действительности прекрасно только потому, что мы смотрим на него с такой точки зрения, с которой оно кажется прекрасным». — Напротив, гораздо чаще случается, что прекрасное прекрасно со всех точек зрения; так, напр., прекрасный пейзаж бывает большею частью хорош, откуда бы ни смотрели мы на него. — Конечно, он бывает в высшей степени хорош только с *одной* точки зрения — но что́ же из этого? И на произведения живописи надобно смотреть с известного места, для того, чтобы они представлялись нам во всей своей красоте. Это следствие законов перспективы, которые одинаково должны быть соблюдаемы при наслаждении прекрасным в действительности и прекрасным в искусстве.

Вообще надобно, кажется, сказать, что все рассмотренные упреки прекрасному в действительности преувеличены, а некоторые совершенно несправедливы; что нет из них ни одного, который прилагался бы ко всем родам прекрасного. Но нами не рассмотрены еще главнейшие, существеннейшие недостатки, открываемые господствующими эстетическими воззрениями в прекрасном действительного мира. До сих пор упреки были обращены на то, что прекрасное в действительности неудовлет-

ворительно для человека; теперь следуют прямые доказательства, что прекрасное в действительности, собственно говоря, не может и назваться прекрасным. Доказательств этих три. Пересмотрим их, начиная с менее сильного и менее общего.

VI. «Прекрасное в действительности или группа предметов (пейзаж, группа людей), или один предмет в отдельности. Вредная случайность всегда портит в действительности группу, кажущуюся прекрасною, внося в нее посторонние, ненужные предметы, мешающие красоте и единству целого; она портит и кажущийся прекрасным отдельный предмет, портя некоторые его части: внимательное рассмотрение покажет нам всегда, что некоторые части действительного предмета, представляющегося прекрасным, вовсе не прекрасны». — Здесь мы опять встречаемся с мыслью, что красота есть совершенство. Но эта мысль только частное приложение общей мысли, что человек удовлетворяется вообще только математически совершенным; нет, практическая жизнь человека убеждает нас, что он ищет только приблизительного совершенства, которое, выражаясь строго, и не должно называться совершенством. Человек ищет только *хорошего,* а не совершенного. Совершенства требует только чистая математика; даже прикладная математика довольствуется приблизительными вычислениями. Искать совершенства в какой бы то ни было сфере жизни — дело отвлеченной, болезненной или праздной фантазии. Мы хотим дышать чистым воздухом: но замечаем ли мы, что абсолютно чист воздух не бывает нигде и никогда? Мы хотим пить чистую воду, но не абсолютно чистую воду: совершенно чистая (дистиллированная) вода даже неприятна для вкуса. Эти примеры слишком материальны? Приведем другие: разве кому приходила мысль называть неученым человека, которому не *все* известно? Нет, мы не ищем человека, которому было бы известно *все;* мы требуем от ученого только того, чтобы ему было изве-

стно все существенное и чтобы ему было известно очень многое. Разве мы недовольны, напр., историческою книгою, в которой не все решительно вопросы объяснены, не все решительно подробности приведены, не все до одного взгляды и слова автора абсолютно справедливы? Нет, мы довольны, и чрезвычайно довольны, книгою, когда в ней разрешены *главные* вопросы, приведены самонужнейшие подробности, когда *главные* мнения автора справедливы, и в книге его *очень мало* неверных или неудачных объяснений. (Ниже мы увидим, что в сфере искусства мы также довольствуемся приблизительным совершенством.) После этих указаний можно сказать, не боясь сильного противоречия, что и в области прекрасного действительной жизни мы довольствуемся тем, когда находим очень хорошее, но не ищем совершенства математического, изъятого от *всех* мелких недостатков. Неужели кому-нибудь вздумается говорить, что пейзаж не прекрасен, если на каком-нибудь месте его растут три куста, и лучше было бы, если б росло два или четыре? Вероятно, никому еще из людей, любовавшихся морем, не приходило в голову, что море могло бы быть лучше, нежели оно есть; а если математически строго смотреть на море, то в нем действительно есть недостатки, и первый недостаток — оно не плоская, а выпуклая поверхность. Правда, этого недостатка не видно, его открывает не глаз, а вычисление; можно поэтому прибавить, что смешно и говорить об этом недостатке, которого невозможно заметить, о котором можно только *знать,* но таковы большею частью недостатки прекрасного в действительности: их не видно, они нечувствительны, они открываются только исследованию, а не воззрению. Не забудем же, что чувство прекрасного имеет дело с воззрением, а не с наукою: что нечувствительно, то не существует для эстетического чувства. Но в самом ли деле недостатки прекрасного в действительности большею частью нечувствительны для воззрения? В этом убеждает

нас опыт. Нет человека, одаренного эстетическим чувством, которому бы не встречались в действительности тысячи лиц, явлений и предметов, казавшихся ему безукоризненно прекрасными. Но что́ же особенно важного, когда в прекрасном предмете и заметны для воззрения недостатки? Верно, они слишком неважны, если, несмотря на них, предмет продолжает казаться прекрасным, — если они важны, предмет будет уродлив, а не прекрасен. А неважное не стоит того, чтоб и говорить о нем. И действительно, эстетически здоровый человек не обращает на него внимания. Человеку, не приготовленному специальным изучением новейшей эстетики, странно будет услышать второе доказательство, приводимое в подтверждение того, что так называемое прекрасное в действительности не может быть прекрасно в полном смысле слова.

VII. «Действительный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он живой предмет, в котором совершается действительный процесс жизни со всею своею грубостью, со всеми своими антиэстетическими подробностями». — Едва ли можно себе представить высшую степень фантастического идеализма. Как, неужели живое лицо не прекрасно, а изображенное на портрете или снятое в дагерротип прекрасно? и почему же? Потому, что на живом лице неизбежно бывают всегда материальные следы процесса жизни; потому, что если мы посмотрим в микроскоп на живое лицо, то всегда увидим его, покрытое испариною и т. п. Как, живое дерево не может быть прекрасным потому, что на нем всегда гнездятся мелкие насекомые, питающиеся его листьями? Странное мнение, которое даже не требует опровержения: какое же дело моему эстетическому воззрению до того, чего оно не замечает? может ли производить какое-нибудь влияние на мое ощущение тот недостаток, которого оно не чувствует? В опровержение этого мнения не нужно даже приводить истину, что странно искать

таких людей, которые бы не пили, не ели, не имели надобности умываться и переменять белье. Распространяться о подобных требованиях совершенно бесполезно. Лучше рассмотрим одну из тех идей, из которых возник столь странный упрек прекрасному в действительности, идею, составляющую одно из основных воззрений господствующей эстетики. Вот эта мысль: «Прекрасное есть не самый предмет, а чистая поверхность, чистая форма (die reine Oberfläche) предмета». Неосновательность этого взгляда на прекрасное обнаружится, когда мы пересмотрим источники, из которых оно произошло. Прекрасное чаще всего мы видим глазами; а глаза, конечно, видят только оболочку, абрис, наружность предмета, а не внутреннее его сложение. Из этого легко вывесть заключение, что прекрасное есть поверхность предмета, а не самый предмет. Но, во-первых, кроме прекрасного для зрения, есть прекрасное для слуха (пение и музыка), в котором нельзя говорить ни о какой поверхности. Во-вторых, не всегда и глазами видим мы только оболочку предмета: в прозрачных предметах мы видим *весь* предмет, все его внутреннее сложение; воде и драгоценным камням именно прозрачность и сообщает красоту. Наконец, человеческое тело, лучшая красота на земле, полупрозрачно, и мы в человеке видим не чисто одну только поверхность: сквозь кожу просвечивает тело, и это просвечивание тела придает чрезвычайно много прелести человеческой красоте. В-третьих, странно говорить, что и в совершенно непрозрачных телах мы видим только поверхность, а не самый предмет: воззрение принадлежит не исключительно глазам, известно, что в нем всегда участвует припоминающий и соображающий рассудок; соображение всегда наполняет материей пустую форму, представляющуюся глазу. Человек видит *движущийся* предмет, хотя орган его глаза сам по себе не видит движения; человек видит отдаленность предмета, хотя сам по себе глаз не видит отдаления; так точно человек ви-

дит материальный предмет, хотя глаз его видит только пустую, нематериальную, отвлеченную поверхность предмета. Другое основание для мысли: «прекрасное есть чистая поверхность», состоит в предположении, что эстетическое наслаждение несовместимо с материальным интересом, принимаемым в предмете. Не будем входить в рассмотрение того, каким образом надобно понимать отношение материальной интересности для нас предмета и эстетического наслаждения им, хотя это исследование привело бы к убеждению, что эстетическое наслаждение отлично от материального интереса или практического взгляда на предмет, но не противоположно ему. Довольно будет указать на свидетельство опыта, что и действительный предмет может казаться прекрасным, не возбуждая материального интереса: какая же своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы любуемся звездами, морем, лесом (неужели при взгляде на действительный лес я необходимо должен думать, годится ли он мне на постройку или отопление дома?), — какая своекорыстная мысль пробуждается в нас, когда мы заслушиваемся шелеста листьев, песни соловья? Что касается человека, мы часто любим его без всяких своекорыстных побуждений, нисколько не думая о себе; тем скорее может он эстетически нравиться нам, не возбуждая материального (stoffartig) раздумья о наших отношениях к нему. Наконец, ближайшим образом мысль о том, что прекрасное есть чистая форма, вытекает из понятия, что прекрасное есть чистый призрак; а такое понятие — необходимое следствие определения прекрасного как полноты осуществления идеи в отдельном предмете и падает вместе с этим определением.

После длинного ряда упреков прекрасному в действительности, становившихся все общее и сильнее, мы доходим теперь до последней, самой сильной и самой общей причины, почему реальное прекрасное не может быть считаемо действительно прекрасным.

VIII. «Отдельный предмет не может быть прекрасен уже потому, что он не абсолютен; а прекрасное есть абсолютное». — Доказательство действительно неопровержимое [для самой гегелевской школы и многих других философских школ], — принимающих мерилом не только теоретической истины, но и деятельных стремлений человека абсолютное. Но эти системы уже распались, уступив место другим, развившимся из них по силе внутреннего диалектического процесса, но понимающим жизнь совершенно иначе. Ограничиваясь этим указанием на философскую несостоятельность воззрения, из которого произошло подведение всех человеческих стремлений под абсолют, станем для нашей критики на другую точку зрения, более близкую к чисто эстетическим понятиям, и скажем, что вообще деятельность человека не стремится к абсолютному и ничего не знает о нем, имея в виду различные, чисто человеческие, цели. В этом совершенно сходны с другими чувствами и деятельностями человека чувство и деятельность эстетические. В действительности мы не встречаем ничего абсолютного; потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота; но то мы знаем, по крайней мере, из опыта, что similis simili gaudet *, что поэтому нам, существам индивидуальным, не могущим перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности. После этого дальнейшие опровержения излишни.

< . . . . >

<СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА>

Много нашли мы причин предпочтения, отдаваемого искусству перед действительностью; но все они только

---

* Подобный подобному радуется (*лат.*).

объясняют, а не оправдывают это предпочтение. Не соглашаясь, чтобы искусство стояло не только выше действительности, но и наравне с нею по внутреннему достоинству содержания или исполнения, мы, конечно, не можем согласиться с господствующим ныне взглядом на то, из каких потребностей возникает оно, в чем цель его существования, его назначение. Господствующее мнение о происхождении и значении искусства выражается так: «Имея непреодолимое стремление к прекрасному, человек не находит истинно-прекрасного в объективной действительности; этим он поставлен в необходимость сам создавать предметы или произведения, которые соответствовали бы его требованию, предметы и явления истинно-прекрасные». Иначе сказать: «Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется произведениями искусства». Мы должны анализировать это определение, чтобы открыть истинное значение неполных и односторонних намеков, в нем заключающихся. «Человек имеет стремление к прекрасному». Но если под прекрасным понимать то, что понимается в этом определении, — полное согласие идеи и формы, то из стремления к прекрасному надобно выводить не искусство в частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой — полное осуществление известной мысли; стремление к единству идеи и образа — формальное начало всякой техники, стремление к созданию и усовершенствованию всякого произведения или изделия; выводя из стремления к прекрасному искусство, мы смешиваем два значения этого слова: 1) изящное искусство (поэзия, музыка и т. д.) и 2) уменье или старанье хорошо сделать что-нибудь; только последнее выводится из стремления к единству идеи и формы. Если же под прекрасным должно понимать (как нам кажется) то, в чем человек видит жизнь, — очевидно, что из стремления к нему происходит радостная любовь ко всему живому и что это стремление в высочайшей сте-

пени удовлетворяется живою действительностью. «Человек не встречает в действительности истинно и вполне прекрасного». Мы старались доказать, что это несправедливо, что деятельность нашей фантазии возбуждается не недостатками прекрасного в действительности, а его отсутствием; что действительное прекрасное вполне прекрасно, но, к сожалению нашему, не всегда бывает перед нашими глазами. Если бы произведения искусства возникали вследствие нашего стремления к совершенству и пренебрежения всем несовершенным, человек должен был бы давно покинуть, как бесплодное усилие, всякое стремление к искусству, потому что в произведениях искусства нет совершенства; кто недоволен действительною красотою, тот еще меньше может удовлетвориться красотою, создаваемою искусством. Итак, невозможно согласиться с обыкновенным объяснением значения искусства; но в этом объяснении есть намеки, которые могут быть названы справедливыми, если будут истолкованы надлежащим образом. «Человек не удовлетворяется прекрасным в действительности, ему мало этого прекрасного» — вот в чем сущность и правдивость обыкновенного объяснения, которое, будучи ложно понимаемо, само нуждается в объяснении.

Море прекрасно; смотря на него, мы не думаем быть им недовольны в эстетическом отношении; но не все люди живут близ моря; многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него; а им хотелось бы полюбоваться на море — и для них являются картины, изображающие море. Конечно, гораздо лучше смотреть на самое море, нежели на его изображение; но, за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим, за недостатком вещи — ее суррогатом. И тем людям, которые могут любоваться морем в действительности, не всегда, когда хочется, можно смотреть на море, — они вспоминают о нем; но фантазия слаба, ей нужна поддержка, напоминание — и, чтобы оживить свои воспоминания о море,

чтобы яснее представлять его в своем воображении, они смотрят на картину, изображающую море. Вот единственная цель и значение очень многих (большей части) произведений искусства: дать возможность, хотя в некоторой степени, познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не имели возможности наслаждаться им на самом деле; служить напоминанием, возбуждать и оживлять воспоминание о прекрасном в действительности у тех людей, которые знают его из опыта и любят вспоминать о нем. (Оставляем пока выражение: «прекрасное есть существенное содержание искусства»; впоследствии мы подстановим вместо термина «прекрасное» другой, которым содержание искусства определяется, по нашему мнению, точнее и полнее.) Итак, первое значение искусства, принадлежащее всем без исключения произведениям его, — воспроизведение природы и жизни. Отношение их к соответствующим сторонам и явлениям действительности таково же, как отношение гравюры к той картине, с которой она снята, как отношение портрета к лицу, им представляемому. Гравюра снимается с картины не потому, чтобы картина была нехороша, а именно потому, что картина очень хороша; так действительность воспроизводится искусством не для сглаживания недостатков ее, не потому, что сама по себе действительность не довольно хороша, а потому именно, что она хороша. Гравюра не думает быть лучше картины, она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходится в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так и предмет прекрасный в действительности доступен не всякому и не всегда; воспроизве-

денный (слабо, грубо, бледно — это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всякому и всегда. Портрет снимается с человека, который нам дорог и мил, не для того, чтобы сгладить недостатки его лица (что нам за дело до этих недостатков? они для нас незаметны или милы), но для того, чтобы доставить нам возможность любоваться на это лицо даже и тогда, когда на самом деле оно не перед нашими глазами; такова же цель и значение произведений искусства: они не поправляют действительности, не украшают ее, а воспроизводят, служат ей суррогатом.

Итак, первая цель искусства — воспроизведение действительности. Нисколько не думая, чтобы этими словами было высказано нечто совершенно новое в истории эстетических воззрений, мы, однако же, полагаем, что псевдоклассическая «теория подражания природе», господствовавшая в XVII—XVIII веках, требовала от искусства не того, в чем поставляется формальное начало его определением, заключающимся в словах: «искусство есть воспроизведение действительности». Чтобы за существенное различие нашего воззрения на искусство от понятий, которые имела о нем теория подражания природе, ручались не наши только собственные слова, приведем здесь критику этой теории, заимствованную из лучшего курса господствующей ныне эстетической системы. Критика эта, с одной стороны, покажет различие опровергаемых ею понятий от нашего воззрения, с другой стороны, обнаружит, чего недостает в нашем первом определении искусства, как деятельности воспроизводящей, и таким образом послужит переходом к точнейшему развитию понятий об искусстве.

«В определении искусства как подражания природе показывается только его формальная цель; оно должно, по такому определению, стараться по возможности повторять то, что уже существует во внешнем мире. Такое повторение должно быть признано излиш-

ним, так как природа и жизнь уже представляют нам то, что по этому понятию должно представить искусство. Этого мало; подражать природе — тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели потому, что, подражая природе, искусство, по ограниченности своих средств, дает только обман вместо истины и вместо действительно живого существа только мертвую маску» [4].

Здесь прежде всего заметим, что словами: «искусство есть воспроизведение действительности», как и фразою: «искусство есть подражание природе», определяется только формальное начало искусства; для определения содержания искусства первый вывод, нами сделанный относительно его цели, должен быть дополнен, и мы займемся этим дополнением впоследствии. Другое возражение нисколько не прилагается к воззрению, нами высказанному: из предыдущего развития видно, что воспроизведение или «повторение» предметов и явлений природы искусством — дело вовсе не излишнее, напротив — необходимое. Переходя к замечанию, что это повторение — тщетное усилие, далеко не достигающее своей цели, надобно сказать, что подобное возражение имеет силу только в том случае, когда предполагается, будто бы искусство хочет соперничать с действительностью, а не просто быть ее суррогатом. Но мы именно то и утверждаем, что искусство не может выдержать сравнения с живою действительностью и вовсе не имеет той жизненности, как реальная действительность; это мы признаем несомненным.

Итак, справедливо, что фраза: «искусство есть воспроизведение действительности», должна быть дополнена для того, чтобы быть всесторонним определением; не исчерпывая в этом виде все содержание определяемого понятия, определение, однако, верно, и возражения против него пока могут быть основаны только на затаенном требовании, чтобы искусство являлось по своему определению выше, совершеннее действительности; объектив-

ную неосновательность этого предположения мы старались доказать и потом обнаружили его субъективные основания. Посмотрим, прилагаются ли к нашему воззрению дальнейшие возражения против теории подражания.

«При невозможности полного успеха в подражании природе оставалось бы только самодовольное наслаждение относительным успехом этого фокус-покуса; но и это наслаждение становится тем холоднее, чем больше бывает наружное сходство копии с оригиналом, и даже обращается в пресыщение или отвращение. Есть портреты, похожие на оригинал, как говорится, до отвратительности. Нам тотчас же становится скучным и отвратительным превосходнейшее подражание пению соловья, как скоро мы узнаем, что это не в самом деле пение соловья, а подражание ему какого-нибудь искусника, выделывающего соловьиные трели; потому что от человека мы вправе требовать не такой музыки. Подобные фокусы искуснейшего подражания природе можно сравнить с искусством того фокусника, который без промаха бросал чечевичные зерна сквозь отверстия величиною также не более чечевичного зерна и которого Александр Великий наградил медимном чечевицы» [5].

Эти замечания совершенно справедливы; но относятся к бесполезному и бессмысленному копированию содержания, недостойного внимания, или к рисованию пустой внешности, обнаженной от содержания. (Сколько превозносимых произведений искусства подпадают этой горькой, но заслуженной насмешке!) Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто бы оно — пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: «да стоило ли трудиться над подобными пустяками?» Бесполезное не имеет права на уважение. «Человек сам себе цель»; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих

себе. Потому-то бесполезное подражание и возбуждает тем большее отвращение, чем совершеннее внешнее сходство: «Зачем потрачено столько времени и труда? — думаем мы, глядя на него: — И так жаль, что такая несостоятельность относительно содержания может совмещаться с таким совершенством в технике!» Скука и отвращение, возбуждаемые фокусником, подражающим соловьиному пению, объясняются самыми замечаниями, сопровождающими в критике указание на него: жалок человек, который не понимает, что должен петь человеческую песнь, а не выделывать бессмысленные трели. Что касается портретов, сходных до отвратительности, это надобно понимать так: всякая копия, для того, чтобы быть верною, должна передавать существенные черты подлинника; портрет, не передающий главных, выразительнейших черт лица, неверен; а когда мелочные подробности лица переданы при этом отчетливо, лицо на портрете выходит обезображенным, бессмысленным, мертвым — как же ему не быть отвратительным? Часто восстают против так называемого «дагерротипного копированья» действительности, — не лучше ли было бы говорить только, что копировка, так же как и всякое человеческое дело, требует понимания, способности отличать существенные черты от несущественных? «Мертвая копировка» — вот обыкновенная фраза; но человек не может скопировать верно, если мертвенность механизма не направляется живым смыслом: нельзя сделать даже верного facsimile, не понимая значения копируемых букв.

Прежде, нежели перейдем к определению существенного содержания искусства, чем дополнится принимаемое нами определение его формального начала, считаем нужным высказать несколько ближайших указаний об отношении теории «воспроизведения» к теории так называемого «подражания». Воззрение на искусство, нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых но-

вейшими немецкими эстетиками, и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки. Итак, непосредственным образом оно связано с двумя системами идей — начала нынешнего века, с одной стороны, последних десятилетий — с другой[6]. Всякое другое соотношение — только простое сходство, не имеющее генетического влияния. Но если понятия древних и старинных мыслителей не могут при настоящем развитии науки иметь влияния на современный образ мыслей, то нельзя не видеть, что во многих случаях современные понятия оказываются сходны с понятиями предшествующих веков. Особенно часто сходятся они с понятиями греческих мыслителей. Таково положение дела и в настоящем случае. Определение формального начала искусства, нами принимаемое, сходно с воззрением, господствовавшим в греческом мире, находимым у Платона, Аристотеля, и, по всей вероятности, высказанным у Демокрита[7]. Их *μιμηδις*[8] соответствует нашему термину «воспроизведение». И если позднее понимали это слово как «подражание» (Nachahmung), то перевод не был удачен, стесняя круг понятия и пробуждая мысль о подделке под внешнюю форму, а не о передаче внутреннего содержания. Псевдоклассическая теория действительно понимала искусство как подделку под действительность с целью обмануть чувства, но это — злоупотребление, принадлежащее только эпохам испорченного вкуса.

Теперь мы должны дополнить выставленное нами выше определение искусства и от рассмотрения формального начала искусства перейти к определению его содержания.

Обыкновенно говорят, что содержание искусства есть прекрасное; но этим слишком стесняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекрасного, то множество произведений искусства не подойдут по содержанию под эти

три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. В живописи не подходят под эти подразделения картины домашней жизни, в которых нет ни одного прекрасного или смешного лица, изображения старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою, и т. д. В музыке еще труднее провести обыкновенные подразделения; если отнесем марши, патетические пьесы и т. д. к отделу величественного; если пьесы, дышащие любовью или веселостью, причислим к отделу прекрасного; если отыщем много комических песен, то у нас еще останется огромное количество пьес, которые по своему содержанию не могут быть без натяжки причислены ни к одному из этих родов: куда отнести грустные мотивы? неужели к возвышеному, как страдание? или к прекрасному, как нежные мечты? Но из всех искусств наиболее противится подведению своего содержания под тесные рубрики прекрасного и его моментов поэзия. Область ее — вся область жизни и природы; точки зрения поэта на жизнь в разнообразных ее проявлениях так же разнообразны, как понятия мыслителя об этих разнохарактерных явлениях; а мыслитель находит в действительности очень многое, кроме прекрасного, возвышенного и комического. Не всякое горе доходит до трагизма; не всякая радость грациозна или комична. Что содержание поэзии не исчерпывается тремя известными элементами, внешним образом видим из того, что ее произведения перестали вмещаться в рамки старых подразделений. Что драматическая поэзия изображает не одно трагическое или комическое, доказывается тем, что, кроме комедии и трагедии, должна была явиться драма. Вместо эпоса, по преимуществу возвышенного, явился роман с бесчисленными своими родами. Для большей части нынешних лирических пьес не отыскивается в старых подразделениях заглавия, которое могло бы обозначить характер содержания; недостаточны сотни рубрик, тем менее можно сомневаться, что не могут всего обнять три

рубрики (мы говорим о характере содержания, а не форме, которая всегда должна быть прекрасна).

Проще всего решить эту запутанность, сказав, что сфера искусства не ограничивается одним прекрасным и его так называемыми моментами, а обнимает собою все, что в действительности (в природе и в жизни) интересует человека — не как ученого, а просто как человека; общеинтересное в жизни — вот содержание искусства. Прекрасное, трагическое, комическое — только три наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от которых зависит интерес жизни и перечислить которые значило бы перечислить все чувства, все стремления, от которых может волноваться сердце человека. Едва ли надобно вдаваться в более подробные доказательства принимаемого нами понятия о содержании искусства; потому что если в эстетике предлагается обыкновенно другое, более тесное определение содержания, то взгляд, нами принимаемый, господствует на самом деле, т. е. в самих художниках и поэтах, постоянно высказывается в литературе и в жизни. Если считают необходимостью определять прекрасное как преимущественное и, выражаясь точнее, как единственное существенное содержание искусства, то истинная причина этого скрывается в неясном различении прекрасного, как объекта искусства от прекрасной формы, которая действительно составляет необходимое качество всякого произведения искусства. Но эта формальная красота или единство идеи и образа, содержания и формы — не специальная особенность, которая отличала бы искусство от других отраслей человеческой деятельности. Действование человека всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере соответствия нашего дела с целью, которую мы хотели осуществить им, ценится достоинство самого дела; по мере совершенства выполнения оценивается всякое человеческое произведение. Это общий закон и для ремесел, и для промышленности, и для

научной деятельности и т. д. Он применяется и к произведениям искусства: художник (сознательно или бессознательно, все равно) стремится воспроизвести пред нами известную сторону жизни; само собою разумеется, что достоинство его произведения будет зависеть от того, как он выполнил свое дело. «Произведение искусства стремится к гармонии идеи с образом» ни более ни менее, как произведение сапожного мастерства, ювелирного ремесла, каллиграфии, инженерного искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено» — вот смысл фразы: «гармония идеи и образа». Итак, 1) прекрасное как единство идеи и образа вовсе не характеристическая особенность искусства в том смысле, какой придается этому слову эстетикою; 2) «единство идеи и образа» определяет одну формальную сторону искусства, нисколько не относясь к его содержанию; оно говорит о том, *как* должно быть исполнено, а не о том, *что* исполняется. Но мы уже заметили, что в этой фразе важно слово «образ», — оно говорит о том, что искусство выражает идею не отвлеченными понятиями, а живым индивидуальным фактом; говоря: «искусство есть воспроизведение природы и жизни», мы говорим то же самое: в природе и жизни нет ничего отвлеченно существующего; в них все конкретно; воспроизведение должно по мере возможности сохранять сущность воспроизводимого; потому создание искусства должно стремиться к тому, чтобы в нем было как можно менее отвлеченного, чтобы в нем все было, по мере возможности, выражено конкретно, в живых картинах, в индивидуальных образах. (Совершенно другой вопрос: может ли искусство достичь этого вполне? Живопись, скульптура и музыка достигают; поэзия не всегда может и не всегда должна слишком заботиться о пластичности подробностей: довольно и того, когда вообще, в целом, произведение поэзии пластично; излишние хлопоты о пластической отделке подробностей могут повре-

дить единству целого, слишком рельефно очертив его части, и, что еще важнее, будут отвлекать внимание художника от существеннейших сторон его дела.) Красота формы, состоящая в единстве идеи и образа, общая принадлежность не только искусства (в эстетическом смысле слова), но и всякого человеческого дела, совершенно отлична от идеи прекрасного, как объекта искусства, как предмета нашей радостной любви в действительном мире. Смешение красоты формы, как необходимого качества художественного произведения, и прекрасного, как одного из многих объектов искусства, было одною из причин печальных злоупотреблений в искусстве. «Предмет искусства — прекрасное», прекрасное во что бы то ни стало, другого содержания нет у искусства. Что же прекраснее всего на свете? В человеческой жизни — красота и любовь; в природе — трудно и решить, что́ именно — так много в ней красоты. Итак, надобно кстати и некстати наполнять поэтические создания описаниями природы: чем больше их, тем больше прекрасного в нашем произведении. Но красота и любовь еще прекраснее — и вот (большею частью совершенно некстати) на первом плане драмы, повести, романа и т. д. является любовь. Неуместные распространения о красотах природы еще не так вредны художественному произведению: их можно выпускать, потому что они приклеиваются внешним образом; но что́ делать с любовною интригою? ее невозможно опустить из внимания, потому что к этой основе все приплетено гордиевыми узлами, без нее все теряет связь и смысл. Не говорим уже о том, что влюбленная чета, страдающая или торжествующая, придает целым тысячам произведений ужасающую монотонность; не говорим и о том, что эти любовные приключения и описания красоты отнимают место у существенных подробностей; этого мало: привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, го-

раздо более интересующие человека вообще; вся поэзия и вся изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный (чтобы удержаться от более точных эпитетов) взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Это, наконец, роняет искусство в глазах людей, уже вышедших из счастливой поры ранней юности; искусство кажется им забавою, приторною для развитых людей и не совсем безопасною для молодежи. Мы вовсе не думаем запрещать поэту описывать любовь; но эстетика должна требовать, чтобы поэт описывал любовь только тогда, когда хочет именно ее описывать: к чему выставлять на первом плане любовь, когда дело идет, собственно говоря, вовсе не о ней, а о других сторонах жизни? К чему, например, любовь на первом плане в романах, которые собственно изображают быт известного народа в данную эпоху или быт известных классов народа? В истории, в психологии, в этнографических сочинениях также говорится о любви, — но только на своем месте, точно так же, как и обо всем. Исторические романы Вальтера Скотта основаны на любовных приключениях — к чему это? Разве любовь была главным занятием общества и главною двигательницею событий в изображаемые им эпохи? «Но романы Вальтера Скотта устарели»; точно так же кстати и некстати наполнены любовью романы Диккенса и романы Жоржа Занда из сельского быта, в которых опять дело идет вовсе не о любви. «Пишите о том, о чем вы хотите писать» — правило, которое редко решаются соблюдать поэты. Любовь кстати и некстати — первый вред, проистекающий для искусства из понятия, что «содержание искусства — прекрасное»; второй, тесно с ним соединенный, —

искусственность. В наше время подсмеиваются над Расином и мадам Дезульер; но едва ли современное искусство далеко ушло от них в отношении простоты и естественности пружин действия и безыскусственной натуральности речей; разделение действующих лиц на героев и злодеев до сих пор может быть прилагаемо к произведениям искусства в патетическом роде; как связно, плавно, красноречиво объясняются эти лица! Монологи и разговоры в современных романах немногим ниже монологов классической трагедии: «в художественном произведении все должно быть облечено красотою» — и нам даются такие глубоко обдуманные планы действования, каких почти никогда не составляют люди в настоящей жизни; а если выводимое лицо сделает как-нибудь инстинктивный, необдуманный шаг, автор считает необходимым оправдывать его из сущности характера этого лица, а критики остаются недовольны тем, что «действие не мотивировано» — как будто бы оно мотивируется всегда индивидуальным характером, а не обстоятельствами и общими качествами человеческого сердца. «Красота требует законченности характеров» — и вместо лиц живых, разнообразных при всей своей типичности, искусство дает неподвижные статуи. «Красота художественного произведения требует законченности разговоров» — и вместо живого разговора ведутся искусственные беседы, в которых разговаривающие волею и неволею выказывают свой характер. Следствием всего этого бывает монотонность произведений поэзии: люди все на один лад, события развиваются по известным рецептам, с первых страниц видно, что́ будет дальше, и не только, что̀ будет, но и как будет. Возвратимся, однако, к вопросу о существенном значении искусства.

Первое и общее значение всех произведений искусства, сказали мы, — воспроизведение интересных для человека явлений действительной жизни. Под действительною жизнью, конечно, понимаются не только отно-

шения человека к предметам и существам объективного мира, но и внутренняя жизнь человека; иногда человек живет мечтами, — тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся искусством. Мы упомянули об этом, чтобы показать, как нашим определением обнимается и фантастическое содержание искусства.

Но мы говорили выше, что, кроме воспроизведения, искусство имеет еще другое значение — объяснение жизни; до некоторой степени это доступно всем искусствам: часто достаточно обратить внимание на предмет (что всегда и делает искусство), чтобы объяснить его значение или заставить лучше понять жизнь. В этом смысле искусство ничем не отличается от рассказа о предмете; различие только в том, что искусство вернее достигает своей цели, нежели простой рассказ, тем более ученый рассказ; под формою жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда находим сухое указание на предмет. Романы Купера более, нежели этнографические рассказы и рассуждения о важности изучения быта дикарей, познакомили общество с их жизнью. Но если все искусства могут указывать новые интересные предметы, то поэзия всегда по необходимости указывает резким и ясным образом на существенные черты предмета. Живопись воспроизводит предмет со всеми подробностями, скульптура также; поэзия не может обнять слишком много подробностей и, по необходимости выпуская из своих картин очень многое, сосредоточивает наше внимание на удержанных чертах. В этом видят преимущество поэтических картин перед действительностью; но то же самое делает и каждое отдельное слово со своим предметом: в слове (в понятии) также выпущены все случайные и оставлены одни существенные

черты предмета; может быть, для неопытного соображения слово яснее самого предмета; но это уяснение есть только ослабление. Мы не отрицаем относительной пользы компендиумов;[9] но не думаем, чтобы «Русская история» Таппе, очень полезная для детей, была лучше «Истории» Карамзина, из которой извлечена. Предмет или событие в поэтическом произведении может быть удобопонятнее, нежели в самой действительности; но мы признаем за ним только достоинство живого и ясного указания на действительность, а не самостоятельное значение, которое могло бы соперничествовать с полнотою действительной жизни. Нельзя не прибавить, что всякий прозаический рассказ делает то же самое, что поэзия. Сосредоточение существенных черт не есть характеристическая особенность поэзии, а общее свойство разумной речи.

Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но, интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора; поэт или художник, не будучи в состоянии перестать быть человеком вообще, не может, если б и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями; приговор этот выражается в его произведении, — вот новое значение произведений искусства, по которому искусство становится в число нравственных деятельностей человека. Бывают люди, у которых суждение о явлениях жизни состоит почти только в том, что они обнаруживают расположение к известным сторонам действительности и избегают других — это люди, у которых умственная деятельность слаба, когда подобный человек — поэт или художник, его произведения не имеют другого значения, кроме воспроизведения любимых им сторон жизни. Но если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жиз-

ни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его (и его современников, потому что мыслящий человек не может мыслить над ничтожными вопросами, никому, кроме него, не интересными), будут предложены или разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью. Это направление может находить себе выражение во всех искусствах (напр., в живописи можно указать на карикатуры Гогарта), но преимущественно развивается оно в поэзии, которая представляет полнейшую возможность выразить определенную мысль. Тогда художник становится мыслителем, и произведение искусства, оставаясь в области искусства, приобретает значение научное. Само собою разумеется, что в этом отношении произведения искусства не находят в себе ничего соответствующего в действительности, — но только по форме; что касается до содержания, до самых вопросов, предлагающихся или разрешаемых искусством, они все найдутся в действительной жизни, только без преднамеренности, без arrière-pensée[10]. Предположим, что в произведении искусства развивается мысль: «временное уклонение от прямого пути не погубит сильной натуры», или: «одна крайность вызывает другую»; или изображается распадение человека с самим собою; или, если угодно, борьба страстей с высшими стремлениями (мы указываем различные основные идеи, которые видели в «Фаусте»), — разве не представляются в действительной жизни случаи, в которых развивается то же самое положение? Разве из наблюдения жизни не выводится высокая мудрость? Разве наука не есть простое отвлечение жизни, подведение жизни под формулы? Все, что высказывается наукою и искусством, найдется в жизни, и найдется в полнейшем, совершеннейшем виде, со всеми

живыми подробностями, в которых обыкновенно и лежит истинный смысл дела, которые часто не понимаются наукой и искусством, еще чаще не могут быть ими обняты; в действительной жизни все верно, нет недосмотров, нет односторонней узкости взгляда, которою страждет всякое человеческое произведение, — как поучение, как наука, жизнь полнее, правдивее, даже художественнее всех творений ученых и поэтов. Но жизнь не думает объяснять нам своих явлений, не заботится о выводе аксиом; в произведениях науки и искусства это сделано; правда, выводы неполны, мысли односторонни в сравнении с тем, что представляет жизнь; но их извлекли для нас гениальные люди, без их помощи наши выводы были бы еще одностороннее, еще беднее. Наука и искусство (поэзия) — «Handbuch» для начинающего изучать жизнь; их значение — приготовить к чтению источников и потом от времени до времени служить для справок. Наука не думает скрывать этого; не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности.

Соединяя все сказанное, получим следующее воззрение на искусство: существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее. Искусство относится к жизни совершенно так же, как история; различие по содержанию только в том, что история говорит о жизни человечества, искусство — о жизни человека, история — о жизни общественной, искусство — о жизни индивидуальной. Первая задача истории — воспроизвести жизнь; вторая, исполняемая не всеми историками, — объяснить ее; не заботясь о второй задаче, историк остается простым летописцем, и его произведение — только материал для настоящего историка или чтение для удовлетворения

любопытства; думая о второй задаче, историк становится мыслителем, и его творение приобретает чрез это научное достоинство. Совершенно то же самое надобно сказать об искусстве. История не думает соперничествовать с действительною историческою жизнью, сознается, что ее картины бледны, неполны, более или менее неверны или по крайней мере односторонни. Эстетика должна признать, что искусство точно так же и по тем же самым причинам не должно и думать сравниться с действительностью, тем более превзойти ее красотою.

Но где же творческая фантазия при таком воззрении на искусство? Какая же роль предоставляется ей? Не будем говорить о том, откуда проистекает в искусстве право фантазии видоизменять виденное и слышанное поэтом. Это ясно из цели поэтического создания, от которого требуется верное воспроизведение известной стороны жизни, а не какого-нибудь отдельного случая; посмотрим только, в чем необходимость вмешательства фантазии как способности переделывать (посредством комбинации) воспринятое чувствами и создавать нечто новое по форме. Предполагаем, что поэт берет из опыта собственной жизни событие, вполне ему известное (это случается не часто; обыкновенно многие подробности остаются мало известны и для связности рассказа должны быть дополняемы соображением); предполагаем также, что взятое событие совершенно закончено в художественном отношении, так что простой рассказ о нем был бы вполне художественным произведением, т. е. берем случай, когда вмешательство комбинирующей фантазии кажется наименее нужным. Как бы сильна ни была память, она не в состоянии удержать всех подробностей, особенно тех, которые неважны для сущности дела; но многие из них нужны для художественной полноты рассказа, и должны быть заимствованы из других сцен, оставшихся в памяти поэта (напр., ведение разговора, описание местности и т. д.); правда, что до-

полнение события этими подробностями еще не изменяет его, и различие художественного рассказа от передаваемого в нем события ограничивается пока одною формою. Но этим не исчерпывается вмешательство фантазии. Событие в действительности было перепутано с другими событиями, находившимися с ним только во внешнем сцеплении, без существенной связи; но когда мы будем отделять избранное нами событие от других происшествий и от ненужных эпизодов, мы увидим, что это отделение оставит новые пробелы в жизненной полноте рассказа; поэт опять должен будет восполнять их. Этого мало: отделение не только отнимает жизненную полноту у многих моментов событий, но часто изменяет их характер, — и событие явится в рассказе уже не таким, каково было в действительности, или, для сохранения сущности его, поэт принужден будет *изменять* многие подробности, которые имеют истинный смысл в событии только при его действительной обстановке, отнимаемой изолирующим рассказом. Как видим, круг деятельности творческих сил поэта очень мало стесняется нашими понятиями о сущности искусства. Но предмет нашего исследования — искусство как объективное произведение, а не субъективная деятельность поэта; потому было бы неуместно вдаваться в исчисление различных отношений поэта к материалам его произведения: мы показали одно из этих отношений, наименее благоприятствующее самостоятельности поэта, и нашли, что при нашем воззрении на сущность искусства художник и в этом положении не теряет существенного характера, принадлежащего не поэту или художнику в частности, а вообще человеку во всей его деятельности, — того существеннейшего человеческого права и качества, чтобы смотреть на объективную действительность только как на материал, только как на поле своей деятельности, и, пользуясь ею, подчинять ее себе. Еще обширнее круг вмешательства комбинирующей фантазии при других

обстоятельствах: когда, например, поэту не вполне известны подробности события, когда он знает о нем (и действующих лицах) только по чужим рассказам, всегда односторонним, неверным или неполным в художественном отношении, по крайней мере с личной точки зрения поэта. Но необходимость комбинировать и видоизменять проистекает не из того, чтобы действительная жизнь не представляла (и в гораздо лучшем виде) тех явлений, которые хочет изобразить поэт или художник, а из того, что картина действительной жизни принадлежит не той сфере бытия, как действительная жизнь; различие рождается оттого, что поэт не располагает теми средствами, какими располагает действительная жизнь. При переложении оперы для фортепиано теряется бо́льшая и лучшая часть подробностей и эффектов; многое решительно не может быть с человеческого голоса или с полного оркестра переведено на жалкий, бедный, мертвый инструмент, который должен по мере возможности воспроизвести оперу; потому при аранжировке многое должно быть переделываемо, многое дополняемо — не с тою надеждою, что в аранжировке опера выйдет лучше, нежели в первоначальном своем виде, а для того, чтобы сколько-нибудь вознаградить необходимую порчу оперы при аранжировке; не потому, чтобы аранжировщик исправлял ошибки композитора, а просто потому, что он не располагает теми средствами, какими владеет композитор. Еще больше различия в средствах действительной жизни и поэта. Переводчик поэтического произведения с одного языка на другой должен до некоторой степени переделывать переводимое произведение; как же не являться необходимости переделки при переводе события с языка жизни на скудный, бледный, мертвый язык поэзии?

Апология действительности сравнительно с фантазиею, стремление доказать, что произведения искусства

решительно не могут выдержать сравнения с живой действительностью, вот сущность этого рассуждения. Говорить об искусстве так, как говорит автор, не значит ли унижать искусство? — Да, если показывать, что искусство *ниже* действительной жизни по художественному совершенству своих произведений, значит унижать искусство; но восставать против панегириков не значит еще быть хулителем. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить ко благу человека свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его: для вознаграждения человека в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью, воспроизвести, по мере сил, эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее.

< . . . . >



"Любовь в том, чтобы помогать
возвышению и возвышаться"



ИЗ ЮНОШЕСКИХ ДНЕВНИКОВ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

1848 год

Пятница, 16 июля, 12 час. <...> Говорил с Любинькой, довольно спокойно по наружности, сидел; в $10^1/_2$ пришел Ив. Гр.[11], за ужином говорил о том, что ему не нравится, когда говорят о высших правительственных лицах нехорошо: хоть палка, да начальник; от этого разрушается государственный порядок и доходит дело, когда каждый мыслит, до того, что теперь во Франции. Я говорю: «Начальники слишком много на себя берут, позабыв, что не подчиненные для них, а они для подчиненных, и тем вызывают осуждение и строгость к себе; не правда существует для государства, а оно для правды. Кто различает человека и палку, место и власть и человека, занимающего его, тот не должен бояться суждением о нем ослабить в себе уважение к власти; во Франции и теперь лучше, чем у нас». — «Да, — говорит он, — в материальном смысле, а в нравственном что?» Я говорю: «И в этом лучше, чем у нас, и семейные отношения лучше; а что мы думаем, что у нас лучше, — это от самолюбия, которое говорит лучше нас, т. е. меня, нет и на свете никого; кроме того, оттого, что мы взросли в этих понятиях и думаем, что иначе и быть не должно, а если есть иначе, то это гадость». <...>. Читал 20 июня «Débats»[12], проект конституции.

18 июля, воскресенье. <...> Неудивительно, что дурак в школе бывает обыкновенно умнее хороших и талантливых учеников в жизни: те, все учась, следуют авторитету и не имеют времени свободно жить и чувствовать, и мыслить, остаются детьми, забитыми людьми; одним словом, понял, как выходят бестолковые люди из школ и что значит — это забитый мальчик. Да, защищал по нападкам на Ол. Як.[13], как наставника в Гатчине, мысль, что большая часть занимающих места не имеют ни особых дарований, ни познаний, делающих их достойнее занимать их места, чем те, которые не занимают их, и что, напр., он ничем не хуже других, и большую часть чиновников и правителей легко можно бы заменить durch den ersten besten *, кто сел, тот и умеет сидеть, не человек по уму достоин занимать место, а получил место, так оно и дает тебе ум или репутацию на ум. Споря о чем с Ив. Гр., довел его до того, что он сказал: «Однако этот спор ни к чему не поведет»; через несколько секунд все-таки начал он говорить о вздоре снова. <...>.

20 июля, вторник, 12 часов. <...> Вздумалось перед тем, как пошел в университет <...> не буду ли после недоволен папенькою и маменькою за то, что воспитался в пеленках, так что я не жил, как другие, не любил до сих пор, не кутил никогда; что не испытал, не знаю жизнь, не знаю и людей и кроме этого через это само развитие приняло, может быть, ложный ход, — может быть. <...>.

Среда, 21 VII, 1848. Весь день работал, кроме того, что утром несколько времени и за столом и чаем читал «Современник»; <...>. Говорил о положении женщины с Ив. Гр. и Любинькою. Любинька говорит: «Бедные женщины, потому что всегда в зависимости от мужа».

---

* Первым попавшимся *(нем.)*.

Значит, она хорошо чувствует в этом отношении то же, что и я. Ив. Гр. говорит: «Пустяки, стоит наравне с мужем». Он не понимает этого угнетения, которое нельзя показать пальцем перед судом, но которое ясно в каждом слове и движении сочетанных браком. Я говорил за, он — против, довольно много и умеренно к общему удовольствию. <...>.

VII, 27, вторник. <...> Когда читал несколько «Княжну Мери», вздумал переписать ее; в 11 ч., когда легли, начал переписывать, до этого времени — час — переписал до слов Грушницкого о Лиговских.

Вечером был разговор с Ив. Гр. о великих писателях, их слабостях и пр.; он говорит: «Коли Байрон пьяница, так негодяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель фигляр, между тем как правитель не то». — «Нет, — говорю я, — это те, о которых говорится — вы есте соль земли, эта рука, двигающая рычагом, который называете вы правителем, и странно считать ее за ничто, уважая рычаг, и если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывает у нас: Байрон пил не потому, почему пьет Петр Андреевич». — «Вздор, — говорит, — все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы». Он отвергает их важность для человечества, я утверждаю ее. <...>.

VII, 28, среда. <...> — Среди дня был расстроен отчасти мелочью, — напр., [тем], что брали карандаш для записывания выигрышей в пикет, когда он был нужен для подчеркивания, отчасти мнением, которое вчера слышал от Ив. Гр.: «писатели — фигляры, великий писатель — великий фигляр», — это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека, и больно видеть близ себя такого человека. Вздумал, что лучшего мужа не нужно Любиньке, а ему лучшей жены: добры, хороши оба, но до известной степени и оба ограниченным об-

разом пристрастны к себе и пошло резки в суждениях о всем порядочном в других.

Вспомнил <...>, что я совершенно тот же, как мальчиком был: тогда расплакался о том, что «богатыри так трудились для блага нашего, а мы не хотим даже и знать их, ценить их заслуги и подвиги», — теперь это же самое волнует меня: они наши спасители, эти писатели, как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами — жалкая, оскорбительная неблагодарность, близорукость, пошлость. Это несколько волновало, и я был недоволен. <...>.

29 [*июля*] *четверг.* <...> читал несколько «Героя нашего времени» — 1-ю часть, «Тамань» всю; более чем раньше понравилось, но новая чрезвычайно лучше; блеснула мысль о зависти к Печорину, который видел и испытал любовь столько раз, что теперь даже довольно привык к этому, чувство неудовольствия, что не был еще в делах жизни и борьбе ее, поэтому дитя. <...>. Прочитал половину «Бэлы». Показалось, что там есть в речах, которые приписываются Азамату и Казбичу, риторика, которой решительно не должно и которая не идет к Максиму Максимовичу, который их пересказывает, однако, лучше должно знать горцев. Это пышное высказывание чувств мне кажется приторным и неверностью; описания Бэлы (кажется) и лошади Казбича не совершенно чисты от этого. Но все же мне понравилось более чем раньше. Другое дело «Мери»! Это удивительно! Теперь буду списывать снова «Мери», не знаю, много ли спишу. — 11 часов. — Час ночи: списал до конца 5-й страницы своей и ложусь. Хорошо!

VII, 30, пятница. <...>. Утвердился постепенно в мысли, как в самом деле важны повести и романы для знания и суждения людей. Ив. Гр. и Любинька решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях.

<...> в сущности я верю, что будет время, когда

будут жить по Луи Блану: c chacun produit selon ses facultes et reçoit selon ses besoins *, — это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле, потому что у каждого всегда будет все, чего ему захочется, и потому предварительно захватывать и хранить будет не для чего. <...>.

18 числа сентября. <...>. Теперь постараюсь сказать несколько о моих политических мнениях.

Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление и что, конечно, это последняя форма государства. Это мнение взято у французов; но к этому присоединяется мое прежнее, старинное, коренное мнение, что нет ничего пагубнее для низшего класса и вообще для низших классов, как господство одного класса над другим; ненависть по принципу (большинство должно всегда преобладать, и меньшинство должно существовать для большинства, а не большинство для меньшинства) к аристократии всякого рода, к сущности этого рода правления, а не форме и господству его — теперь мое коренное убеждение <...>.

Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев, монтаньяр решительно, но мне кажется, что противники этих господ нисколько в сущности их не понимают и обезображивают и клевещут на них, как я убедился. <...>.

23 сентября. <...> Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, — не знаю, ведь это странно, — мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в ум-

---

* Каждый производит в меру своих способностей и получает в меру своих потребностей (*франц.*).

ственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. <...>.

1849 год

25 [*апреля*], *понедельник.* <...> Вечером два раза был Ал. Фед., оба раза ненадолго; рассказывал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д. — ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д., Орлова и Дубельта и т. д., — должны были бы быть повешены [14]. Как легко попасть в историю, — я, напр., сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы.

28 [*июня*], *вторник.* Должно было отнести письмо, и так как Ив. Гр. не пошел, но должен был идти я, пошел новою дорогою <...>. Переходя тут ручеек, нагнулся пить и потерял наконечник ножен шпаги; воротился искать, — мужик подал. Я сказал, чтоб он пошел со мною до города, где я разменяю свой целковый, который взял у Любиньки. Шли, стали говорить, я стал вливать революционные понятия в него, расспрашивал, как они живут, — весьма глупо вел себя, т. е. не по принципу или по намерению, а по исполнению, ну, что делать? <...>.

11 июля 1849 г., 10 ч. 28 м. вечера. <...> Если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть административную и вообще правительственную, особенно мелких лиц (т. е. провинциальных и уездных), как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам. <...>.

1850 год

20 [*января*], *пятница.* <...> С год, должно быть, назад тому или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа, чтоб как скоро начнется правление народное, правление de jure и de facto перешло в руки самого низшего и многочисленнейшего класса — земледельцы + поденщики + рабочие, — так, чтоб через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии. — А теперь я решительно убежден в противном — монарх, и тем более абсолютный монарх, — только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии. То когда самая верхушка у конуса отнята, не все ли равно? Низшие слои изнемогают под высшими, будет ли у конуса верхушка или нет, только самая верхушка еще порядком давит на них — и давит чрезвычайно порядочно; это, во-первых, стоит народу много денег, и слез, и крови, во-вторых — как замок в своде, поддерживает, образует, развивает аристократию. Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше; пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться, потому что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах, а в низших, которые ты предоставляешь на совершенное угнетение, на совершенное иссосание средним, нет никакой воз-

можности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетаемые сознают, что они угнетаемы при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетаемы; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, и между угнетателями их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. — Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променял бы свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренно, с убеждением, без своекорыстной цели, который тотчас же, как достигает, чего хотел, ломает свои орудия, и развил бы свои убеждения до того, до чего они должны быть развиты, до их крайних последствий <...>.

<...> Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. — что нужды? — Человек, не ослепленный идеализациею, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные эпохи прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может устрашиться этого; он знает, что иного и нельзя ожидать от людей, что мирное, тихое развитие невозможно. <...>.

ИЗ ПИСЕМ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО ЖЕНЕ И СЫНОВЬЯМ

<...> Ты знаешь, моя милая, что для меня самое лучшее то, что для тебя лучше. Ты умнее меня, мой

друг, и потому я во всем с готовностью и радостью принимаю твое решение. Об одном только прошу тебя: будь спокойна и весела, не унывай, не тоскуй; одно это важно, остальное все — вздор. У тебя больше характера, чем у меня, — а даже я ни на минуту не тужил ни о чем во все это время, — тем более следует быть твердой тебе, мой дружок. Скажу тебе одно: наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 5 октября 1862 г.)
[Петропавловская крепость]

<...> Что сказать тебе, моя милая голубочка, о твоем намерении ехать сюда? Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна; ты знаешь, я всегда принимаю за наилучшее решение — то, на котором ты остановишься; но умоляю тебя, подумай о дальности, об утомительности пути.

Я не писал тебе довольно долго только потому, что не было случая писать; и следующего письма не жди от меня раньше трех месяцев. Предупреждаю тебя об этом для того, чтобы ты не тревожилась: вообще ты не должна беспокоиться за меня, — будь сама здорова и весела, думай только об этом. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. Кадая, 19 апреля 1865).

<...> Прости меня, моя милая голубочка, за то, что я по непрактичности характера не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно

смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для тебя. <...>. Прости меня, мой милый друг. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 18 апреля 1868. Александровский Завод.)

<...> Пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя.

Пишу наскоро. Потому немного. На обороте пишу Сашеньке.

10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему.

Много я сделал горя тебе. Прости. Ты великодушная.

Крепко, крепко обнимаю тебя, радость моя, и целую твои ручки. В эти долгие годы не было, как и не будет никогда, ни одного часа, в который бы не давала мне силу мысль о тебе. Прости человека, наделавшего много тяжелых страданий тебе, но преданного тебе безгранично, мой милый друг.

Я совершенно здоров по обыкновению. Заботься о своем здоровье, — единственном, что дорого для меня на свете.

Скоро все начнет поправляться. С нынешней же осени.

Крепко, крепко обнимаю тебя, моя несравненная, и целую и целую твои ненаглядные глаза.

Твой *Н. Ч.*

Благодарю тебя, Саша, за твои письма. Вижу, ты становишься дельным человеком. Радуюсь на тебя.

Целую тебя и Мишу.

(О. С. и А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКИМ. [29 апреля 1870]).

<...> Юридическое положение дела таково: срок моего приговора кончился 10 августа 1870 года. Запрос о том, могут ли отпустить меня отсюда, послан был в Иркутск (по здешнему правилу спрашивать разрешения оттуда) так заблаговременно, что ответ должен был бы прийти раньше того числа; а вот после того числа прошло уже пять месяцев, — и ответа все еще нет. Когда он придет? <...>.

Моя жизнь здесь действительно не имеет ничего тяжелого или неприятного лично для меня. Все эти недели и месяцы задержки горьки мне только потому, что ты, моя милая радость, тяготишься ими. Но, моя Оленька, страдавши долго, потерпи еще немного, — вероятно, и в самом худшем случае не далее, как с полгода: если не раньше, то около времени твоего летнего праздника я выеду отсюда и тогда устроимся с тобой жить так, чтобы ты снова могла быть веселой.

А что касается лично до меня, я сам не умею разобрать, согласился ли б я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул тебя на целые девять лет в огорчения и лишения. За тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других, — об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их. <...>

<...> Я уж не молод, мой друг, но помни: наша с тобой жизнь еще впереди.

Быть может, кто-нибудь скажет тебе: «он слишком

самонадеян» или «он слишком много предсказывает»; не смущайся этим замечанием и знай: я могу говорить об исторических делах, потому что я много учился и много думал. Чему быть, того не миновать. И тогда мы с тобой увидим, жалеть ли нам о том, что вот столько лет пришлось мне, от нечего делать, все учиться, все думать. Мы увидим: это пригодилось для нашей родины. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 12 января 1871).

<...> Ты хочешь ехать сюда жить. О, мой милый друг, умоляю тебя, повремени исполнением этого желания. Может быть, через полтора года, — может быть, через год, — может быть, и через полгода я попрошу тебя доставить мне счастье видеть тебя и детей. Но подожди, пока это будет моей просьбой к тебе. До той поры повремени.

<...> С твоими нервами, с твоим здоровьем жить здесь положительно невозможно.

Прибавь: здесь нет медика; и ближайшие медики — в Якутске, за 700 верст; эти 700 верст удобны для проезда лишь три, четыре месяца в год; в остальные времена года, если послать за медиком, посланный едва ли дотащится до него в неделю; а медик — разумеется, неспособный переносить трудностей пути, как полудикий здешний рассыльный, якут или объякутившийся русский (забывший и говорить по-русски) — медик едва ли может и доехать здоровым, если будет иметь возможность поехать. <...>.

<...> Вилюйск — это по названию город; но в действительности это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова, — это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет. Надобно вообразить хутор, в котором возможно жить лишь потому, что он подле города или большого села, где есть

товары, и надобно перенести воображением этот хутор в пустыню, за 700 верст от ближайшего рынка; да и на этом рынке слишком часто не бывает слишком многих самых необходимейших товаров: мне говорили, например, что далеко не всегда можно купить в Якутске тарелку или нож с вилкою, или самый простой стакан; привезенные прошлым летом все раскуплены — и жди следующего лета, когда привезут. Цены очень дорогие, разумеется, если и найдешь нужную вещь. — Опять не смущайся этим за меня; что необходимо для меня, я имею все; пишу это не для фразы, а по чистой правде. Но зато, ты помнишь, я не только не нуждался никогда в комфортабельной обстановке, я всегда стеснялся и тяготился всеми теми житейскими удобствами, которые необходимы для людей <...>. Мне тепло; есть хлеб, есть мясо или рыба, есть чай, — все, кроме этого, для меня лишнее. Но не только тебе, женщине, даже и Саше, юноше, и, вероятно, не слишком любящему комфорт, было бы слишком неудобно жить здесь. <...>.

Благодарю Сашу за желание ехать с тобою, когда ты поедешь. Тем, что он бросил бы университет для этого, нечего было бы смущаться: хоть я и порядочно много отстал от ученого движения, но смею полагать, что все еще остаюсь человеком обширной и глубокой учености и что в беседах со мною Саша нашел бы достаточную замену университетских лекций. Поживши со мною два, три года, он мог бы вернуться хорошим соискателем на профессорскую кафедру в Петербургском ли, в каком ли угодно другом университете.

Целую Мишу.

Крепко обнимаю тебя и тысячи раз целую твои руки, моя милая радость.

Твой *Н. Чернышевский.*

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. Вилюйск. 3 апреля 1872).

<...> Прости меня, моя радость, за лишения, которым я подверг тебя. Прошу прощенья и у детей наших.

Благодарю Сашу за его письма. Все, что ты, милый мой Саша, пишешь о себе, хорошо и умно. Советую тебе только одно: советуйся обо всем с матерью; и не делай ничего такого, чего она не одобрит, — и никогда не сделаешь ничего дурного или неблагоразумного. То же правило внушай и Мише.

Целую обоих вас, мои милые Сашенька и Мишенька. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 1 июня 1872. Вилюйск).

Милый мой Миша,

Благодарю тебя за твои письма ко мне; извини меня, мой друг, за то, что я редко отвечаю тебе на них. Дело, между прочим, в том, что я совершенно незнаком с нынешними гимназическими порядками, и мои советы по твоим учебным занятиям едва ли могли бы оказываться идущими к надобностям переходить из класса в класс, получать хорошие баллы и проч. Одно я понимаю: ты любишь заниматься историей; это сходно и с моими личными склонностями. Ты уж не ребенок; потому поймешь мои мысли об истории. Напишу важнейшие выводы из моих — очень серьезных — занятий ею.

Источники, по которым пишутся исторические книги, имеют почти все один общий недостаток: незнакомство с законами человеческой природы; это все похоже на разговоры профанов о медицине: кое-что справедливо, но масса суждений невежественна.

Законы человеческой природы: ум и честность — это одно и то же; ум и доброе сердце — это одно и то же. Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему

полезному для людей, если мотивом слов и поступков бывает не чувство любви к людям.

История вся сплошь набита похвалами фактам, которых не может оправдывать добрый, честный, неглупый человек. Все эти похвалы — невежество, перенесенное авторами исторических трактатов в их книги из невежественных источников; все эти похвалы — вздор, нелепость.

Например. Больше всего говорится в истории о военных делах. Никогда никакая наступательная война не была полезна нации, которая вела ее. В исторических книгах очень часто — не то; но во всех таких случаях авторы ошибаются. <...>.

Будь здоров, мой милый. Целую тебя и жму твою руку.

Твой *Н. Ч.*

(М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. [25 марта 1875 г.]).

<...> Саша кончает курс в университете. Поздравляю его. Желаю ему хорошо устроиться в жизни.

Миша хочет поступить в морское училище. Конечно, я не могу судить о том, насколько это — случайная фантазия юноши, еще не умеющего понимать даже и свои собственные склонности, желания, способности, и насколько — выбор удачный, основательный. Поэтому никаких мнений об этом проекте Миши не могу иметь. Все, что могу сказать, состоит в отцовском желании счастья сыну. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 9 сентября 1875. Вилюйск).

<...> Миша скоро кончит курс в гимназии. Что будет дальше делать он? Конечно, поступит в университет? Это, вообще говоря, самое лучшее. А впрочем — и без

университета обойтись очень невеликая беда. Не стесняй его в этом вопросе: как ему вздумается, так пусть и будет по-нашему с тобою лучше всего и умнее всего. Правда, он еще вовсе ребенок. Но все-таки не маленький и не глупый ребенок. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 17 марта 1876. Вилюйск).

<...> Тебя я хвалю за то, что ты выбрал предметом своих занятий математику. Теперь, когда ты или кончил, или скоро кончишь курс, и надобно тебе вести свои занятия уж совсем самостоятельно, мне интересно узнать от тебя, в каком именно характере представляются тебе твои будущие труды. Думаешь ли ты быть астрономом? Или будешь применять математику к разработке физики? Или тебя привлекает больше всего математика сама по себе, — «чистая математика»? — Мне кажется, что разработка даже и самой математики значительнейшие свои успехи получала от надобности применять ее формулы к решению конкретных вопросов. Например, изобретение «исчисления бесконечных» или, по-нынешнему, интегрального вычисления Ньютоном возникло из его надобностей в том для его трудов по астрономии; кажется, так? Или я ошибаюсь? — Правда, впрочем, что относительно того же открытия Лейбницем кажется мне, будто бы Лейбниц искал тут не разрешения каким-нибудь конкретным вопросам, а именно абстрактных формул. Но сказать и то: я несколько сомневаюсь, действительно ли Лейбниц сделал открытие дифференциального метода независимо от Ньютонова метода флюксий? — Я готов думать, что тут был отчасти плагиат со стороны Лейбница. — А пораньше того начало другому великому открытию, исчислению вероятностей, сделано Паскалем из желания решить чисто житейский вопрос о шансах карточных игр. Но удачны ли эти и другие

вспоминающиеся мне примеры, все равно: вообще, дело достоверное, что важнейшим мотивом к разработке чистой математики была разработка теории астрономии, или, выражаясь более отвлеченным образом, разработка теории механики в применении к вопросам о движении небесных тел. Впрочем, я понимаю, что чистая математика неизмеримо выше всех своих применений, даже и астрономических, по своей научной цене <...>.

(А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. Вилюйск, 17 марта 1876).

<...> Я твой отец. Твое натуральное чувство ко мне: уважение. Чувство хорошее. Но собственный рассудок — единственная коренная основа научного труда. <...>.

Ты любишь историю. Русская научная литература по всеобщей истории очень бедна. Надобно тебе привыкнуть читать английские, немецкие и французские книги так же легко, как русские. И нужны равно все эти три языка. Даже немец, если имеет привычку изучать историю (не говорю уж: «исключительно», а хоть только) преимущественно по книгам на своем языке, не будет гроша стоить как историк. Дело в том, что почти всякая историческая книга насквозь пропитана субъективным элементом национальности автора. Поэтому постоянно надобно освежать объективную силу разума в себе чтением книг о том же предмете, писанных по другим субъективным чувствам. То есть: audiatur et altera pars[15].

О субъективной окраске средневековой и новой истории нечего и толковать: у французов во всем правы французы, гнусны — от давнейшего до недавнего времени по преимуществу англичане, а с войны 1870 года — немцы. <...>. Но в подобном вкусе, хоть и не в таком карикатурном размере, пишутся почти всеми учеными

всех наций ученые трактаты по всем отраслям знания, допускающим вмешательство субъективной симпатии и антипатии. И переносится это даже в древнюю историю. <...>.

Немцу, чтобы не стать чрезмерно односторонним, надобно очень много вдумываться в мысли французских и английских историков. То же, mutatis mutandis [16], и о французе, и о немце. Русскому необходимы все три те чужие литературы. Положение русского ученого труднее: вместо двух только ему нужны три чужих языка. Но трудно ли это, или нет, все равно: это необходимость.

Да, мой милый друг: советую тебе привыкать читать по-французски, по-английски, по-немецки. В этом едва ли не самая важная сторона ученой подготовки себя к занятиям всеобщей историею. <...>.

(М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. Вилюйск. 17 марта 1876).

<...> Мне хочется воспользоваться случаем, чтобы высказать правильные, — мало кому совершенно ясные, — понятия о знаменитом подлом правиле, которое приписывается иезуитам и действительно принадлежит им, но не ими выдумано и принадлежит не им одним, а всем тем людям, которые любят поступать дурно, — всем негодяям: «цель оправдывает средства», подразумевается: хорошая цель, дурные средства. Нет, она не может оправдывать их, потому что они вовсе не средства для нее: хорошая цель не может быть достигаема дурными средствами. Характер средств должен быть таков же, как характер цели, только тогда средства могут вести к цели. Дурные средства годятся только для дурной цели; а для хорошей годятся только хорошие. <...>.

(М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. Вилюйск. 15 сент[ября] 1876).

<...> Ты пишешь: ты решила, что дети должны располагать собою, как им самим кажется лучше; ты стеснять их не хочешь. — Это и единственное разумное отношение родителей к детям, по моему мнению, точно так же, как по твоему. В том, что таково твое отношение к ним, я всегда знаю вперед, по всякому вопросу обо всяком не безрассудном желании Саши или Миши. А они, по-видимому, юноши более или менее рассудительные.

Если иной раз кто из них спрашивает у тебя, как посмотрит их отец на какое-нибудь дело, ты, разумеется, никогда не затрудняешься угадывать мой взгляд; он всегда тот самый, как твой. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. Вилюйск. 30 октября 1876).

Поздравляю тебя, мой милый друг Саша, с окончанием твоих трудов по приобретению кандидатского диплома. Твоя Маменька пишет, что выражения, в которых он свидетельствует об успешности твоих университетских занятий, превосходны и что это нравится ей. Потому приятно это и мне.

Но, само собою разумеется, и по твоему, и по ее, и по моему мнению, важность дела состоит в том, что теперь ты сделался самостоятельным человеком и получил возможность зарабатывать себе кусок хлеба. Ты уж нашел себе занятия, дающие вознаграждение, на первый раз очень удовлетворительные. Это радует тебя и твою Маменьку. И меня. От всей души поздравляю тебя, мой друг.

<...> Вероятно, у тебя есть желание трудиться для науки. Но, вероятно, ты находишь, что это влечение надобно тебе сдерживать до приобретения хороших средств жизни. Богатство — вещь, без которой можно жить счастливо. Но благосостояние — вещь необходимая

для счастья. Прежде всего следует позаботиться тебе о твоем благосостоянии. Наука может подождать. И от этой отсрочки твоя деятельность для нее станет более успешною. Кто не имеет куска хлеба, не имеет и средств служить науке. <...>.

(А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. 25 апреля 1877. Вилюйск).

Милый мой друг Миша,

Благодарю тебя за то, что ты прислал мне свою фотографическую карточку. Ты уж взрослый человек, мой милый. И, судя по карточке, я полагаю: славный молодой человек.

Ты, по-видимому, любишь драматическое искусство. И, по тем ролям, какие представляют тебе твои товарищи, заметно, что ты считаешься у них талантливым артистом. Кажется, что они уважают и твои мнения и выбор пьес для ваших спектаклей. Все это прекрасно.

По части исполнения ролей не могу я быть советником тебе. Я любил театр. Но очень мало бывал в нем. Пока я был студентом, я опасался, что если раз пойду в театр, то меня будет сильно тянуть бывать в нем беспрестанно. А это отвлекло бы меня от занятий. <...>. Такой чудак я был тогда. — А после у меня уж действительно не было досуга посещать театр. Щепкина я видел только раз. Мартынова только два раза. Рашель я не видел. Из итальянцев не слышал большинства первых теноров и примадонн, бывших в мое время в Петербурге. Следовательно, какой же я судья по части исполнения?

Но по части выбора пьес могу иметь кое-какие понятия. Вы избираете пьесы, кажется мне, очень удачно. Лучше «Ревизора» нет ничего в русском репертуаре. И, пожалуй, мало в нем вещей лучше комедии Грибое-

дова. Возразить против этих пьес нечего, если дело идет собственно о русском репертуаре. <...>.

(М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. 25 апреля 1877. Вилюйск).

...Предметы моих ученых занятий были очень далеки от естествознания, как особенного отдела науки. Но, по связи всех отделов науки между собою, мне для моих ученых занятий необходимо было иметь отчетливое знание об основных законах и важнейших фактах всех отделов науки. Потому, что касается основных законов и важнейших фактов естествознания, они известны мне в такой степени, что мои сведения о них не менее ясны, чем у кого бы то ни было из ученых, специально занимающихся каким бы то ни было отделом естествознания. И если кто из специалистов стал бы спорить со мною об этих основных законах и важнейших фактах, то он неизбежно был бы принужден признаться, что в чем расходился с моими понятиями, в том он ошибался. Двадцать лет тому назад лишь очень немного из натуралистов держались того способа понимать предметы естествознания, какого держался уж и тогда я. Теперь этот способ понимания признан всеми хорошими натуралистами за единственный правильный. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. Вилюйск. 7 июля 1877).

Милый мой друг Миша,

Каково-то ты поживаешь? Скоро ли, по твоим расчетам, кончишь гимназический курс? Что думаешь делать после того? Поступишь в университет? По какому факультету?

Поздравляю тебя с днем твоего праздника.

Жму твою руку. Твой *Н. Ч.*

(М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. 30 августа 1877. Вилюйск).

<...> Мои мысли беспрестанно вовлекаются в раздумье о том, жив ли, цел ли Саша, и уцелеет ли он?

Ты написала в том твоем письме, что он отправляется в действующую армию. Это было написано — вот теперь уже два с половиною, — больше, — почти три месяца тому назад. И, когда я прочел это твое известие, Саша, по всей вероятности, уж находился в действующей армии.

Что писать о чувстве, которое владеет мною с той минуты, как я прочел это твое известие? — Отцовское чувство, обыкновенное, простое отцовское чувство, одинаковое с материнским. И нечего больше объяснять его.

И само собою разумеется: душа моя станет спокойна лишь тогда, когда я услышу от тебя, что Саша возвратился с войны жив и цел.

О Мише я не хочу думать, что и он отправится на войну. Хочу думать, что у него нет этой мысли.

И не в состоянии я писать ничего больше в этот раз. <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. 20 сентября 1877. Вилюйск).

Милый мой дружок Саша,

Хвалю тебя за твою решимость добывать себе кусок хлеба честным, скромным трудом. Это благоразумнее всего, но и благороднее всего. <...>.

(А. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ, 18 июля 1878. Вилюйск).

Милый мой Миша,

Радуюсь, что ты кончил курс в гимназии и поступаешь в университет. Если хочешь быть филологом, то занимайся греческим языком еще больше, нежели ла-

тинским. Если хочешь быть историком, то постоянно проверяй мнения историков подлинными текстами источников. <...>.

(М. Н. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ. [7 октября 1880. Вилюйск]).

... Льстить тебе я не имею возможности: нельзя написать о тебе что-нибудь лучше того, каковы мои мысли о тебе. Ты часто находишь, что мое чувство к тебе несправедливо. Об этом думай, как тебе когда случится думать. Но принимай в соображение, что вообще, если кто-нибудь любит кого-нибудь, то имеет о любимом человеке понятия более высокие, нежели имеет любимый человек сам о себе. Это закон природы; если у человека, который называет или воображает себя любящим, понятия о человеке, которого он называет или и действительно считает любимым человеком, не выше тех, какие любимый человек имеет о себе, значит любви к нему нет в том человеке, который называет или считает себя любящим его. <...>. Потому, нравится ли тебе, или нет различие моего мнения о тебе от твоего, помни, однако же, что это различие неотвратимое никаким твоим ли, моим ли желанием подвести мои мысли о тебе под один уровень с твоими понятиями о тебе. Невозможно для меня думать о тебе так, как думаешь о себе ты. — Я люблю тебя, только и всего должна ты думать, когда случится тебе найти в моих письмах что-нибудь о тебе, по твоему мнению, о себе преувеличенное. И о том, действительно ли есть тут преувеличение, судить не нам с тобою. Я знаю достоверно только то, что глаза у меня очень разборчивые, а мои нравственные и умственные требования еще гораздо разборчивее, чем мои глаза. Ты припомни сама, многие ли из женщин, на которых ты велела мне посмотреть со вниманием, потому что они — красавицы, нравились мне. А ужиться ни с какою другою из всех встречавшихся

мне женщин я не мог, — ни с какою другою, кроме тебя. — Умнее ли тебя, лучше ли характером, чем ты, какая-нибудь из женщин, которых ты знавала или теперь знаешь, об этом суди, как тебе угодно. Только помни, что любил я тебя одну и что ни одна из всех других виденных мною женщин не могла бы быть любима мною <...>.

(О. С. ЧЕРНЫШЕВСКОЙ. Вилюйск. 10 апреля 1883).

ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА «ПРОЛОГ» [17]

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава вторая

Прошло с месяц и больше. Волгина давно жила на даче, около Петровского дворца. Местность эта недурна, по крайней мере, на островах нет местности менее сырой. Если бы не дела мужа, Волгина, конечно, не захотела бы искать дачу на островах: подальше от Петербурга есть местности лучше его ближайших окрестностей. Волгин обедал обыкновенно на даче, но большую часть времени должен был проводить в Петербурге. Часто дня по два, по три он не показывался на дачу, как ни близка была она.

Недели две он бывал на даче только такими урывками, на несколько часов около времени обеда, дня через два, через три. Наконец он доработался до конца и теперь на несколько дней будет несколько посвободнее.

Он возвращался к обеду. Обед ждал его.

— Измучился, работавши? Не спал эту ночь? Не уверяй, что спал, нечего уверять. И, должно быть, очень измучился, когда при всем своем притворстве приехал с таким веселым лицом, — говорила жена, ведя его обедать.

— Видишь, голубочка, конечно, я рад, что управился с работою и могу пробыть здесь суток двое, не ездивши в город, но не в этом главная штука, выходит штука очень хорошая, какой, признаться тебе сказать, я уже перестал и надеяться. Вообще, голубочка, могу свалить с себя часть работы, — и теперь ты уже можешь быть спокойна: не буду не спать по ночам, — хоть это и гораздо реже бывало, нежели ты думаешь, — но все-таки; а теперь этого уже вовсе не будет.

— Нашел человека, который тоже может писать, как надобно по-твоему? — с живою радостью сказала Волгина, с такою радостью, что глаза ее сияли.

— Нашелся такой человек, — да, нашелся, голубочка. И вообрази, как ты угадала тогда, — помнишь, когда ты заметила Савелова, как он подстерегал? Ну, а перед тем самым, — тоже, уже на Владимирской площади встретился нам студент, — помнишь? — и ты сказала: «Чрезвычайно умное лицо; очень редки такие умные лица», — помнишь? Ну, он самый и есть. Фамилия его Левицкий.[18] Вчера, вечером, приносит статью — небольшую, — читаю: вижу, совсем не то, как у всех дураков, — читаю, думаю: «Неужели наконец попадается человек со смыслом в голове». Читаю, — так, так, должно быть, со смыслом в голове? Ну, и потом стал говорить с ним. И вот потому-то, собственно, пришлось не спать, — нельзя, мой друг, за это и ты не можешь осудить. Проговорил с ним часов до трех. Это человек, голубочка; со смыслом человек. Будет работать...

— Помню теперь, — заметила Волгина, когда муж наговорился без отдыха о своей радости, — очень высокий, несколько сутуловатый, — русый, некрасивый, — не урод, но вовсе не красивый. Помню теперь. Но это еще вовсе молодой человек, мой друг, — и уже так рассудительно понимает вещи, которые, по-твоему, не понимает никто из литераторов?

— Да, ему двадцать первый год только еще. Замеча-

тельная сила ума, голубочка! Ну, пишет превосходно, не то, что я: сжато, легко, блистательно, но это хоть и прекрасно, пустяки, разумеется, — дело не в том, а как понимаешь вещи. Понимает. Все понимает как следует. Такая холодность взгляда, такая самостоятельность мысли в двадцать один год, когда все поголовно точно пьяные! — хуже: пьяный проспится, дурак никогда. <...>.

<. . . . .>

Прошло еще месяца два или больше. Приближалась осень. Аристократы, вероятно, в своих каменных дачах, еще не начинали думать о возвращении в город; Волгина уже думала. Но после двух, трех ненастных дней погода поправилась, и Волгина воспользовалась этой отсрочкою, чтобы переменить обои на своей городской квартире: денежные дела мужа быстро улучшались; на прошлой неделе он получил за месяц сотнею рублей больше прежнего. Так он будет получать и в следующие месяцы до нового года. А потом счеты будут вестись на новых основаниях, уже очень выгодных для него.

— Это прелесть, какою миленькою, веселою станет наша квартира! — говорила Волгина мужу, возвратившись из города, куда ездила выбирать обои. Она стала описывать до малейших подробностей, какие обои взяла для какой комнаты. — Словом, ты понимаешь, во всех комнатах будут светлые обои; только в твоем кабинете не светлые, синие: они лучше для глаз... Ах, мой друг, я боюсь, что ты утомляешь свои глаза!

— Напрасно, голубочка; мои глаза очень близоруки, но зато чрезвычайно здоровы. Сколько лет я, можно сказать, только тогда и отрывал их от книги, когда спал, — и ни разу не чувствовал зрения утомленным. У очень близоруких очень часто бывают ужасно крепкие глаза.

— Но какие бы ни были они крепкие, все-таки я опасаюсь за них. Готлиб Карлыч пил кофе, когда я привезла ему то, что ты приготовил; села, выпить чашку, — славный кофе,—мы разговорились. Он сказал: «Ни один литератор не пишет столько. Ни я, никто из наборщиков не видывали, чтобы кто-нибудь писал так много».

— Это ничего не значит, голубочка. Я пишу сплеча, даже не перечитываю. Другие обдумывают, потом поправляют. Иные сидят за письменным столом не меньше моего, быть может.

— Все-таки, ты должен писать меньше. Теперь, ты стал получать больше, нежели надобно мне.

— Ну, голубочка, еще далеко до того, чтобы получать, сколько надобно. Ты вспомни: тебе надобно иметь экипаж, пару лошадей, а когда дойдет до такого дохода? Разве года через полтора наберешь денег. Но главное, голубочка, вовсе не твои надобности. Прежде точно, главное было в них, когда искал работы, хотел зарекомендовать себя, что могу писать быстро. А теперь, голубочка, совсем другое. Совесть — эко, даже совесть приплел к таким пустякам! Само собою, вздор; но что же ты станешь делать с этою моею глупостью, когда так думаю: если не напишу об этом, то будет написана чепуха, — а «об этом» выходит обо всем, о чем ни бывает надобно, — ну, даже и не успеваю.

— Но что же так долго не едет твой Левицкий? Ты говорил, он уезжал тогда месяца на два. Давно пора бы ему приехать. Ты написал бы ему, поторопил бы его.

— Твоя правда, голубочка. Напишу.

— Ты забудешь, я знаю тебя! Но я сама буду за тебя помнить. Завтра, когда ехать в город, спрошу, готово ли письмо, и если не готово, заставлю написать при себе. Или, хочешь, я напишу за тебя? Это я сумею. Ты не говори мне, как писать. Только скажешь мне адрес.— Волгина уже сидела за письменным столом мужа <...>.

— Как я рада, что хоть немножечко помогла тебе!

Ах, мне хотелось бы помогать тебе! Не умею, мой друг; ничему не училась. А теперь поздно, когда Володя не идет из ума! Сяду читать, и вдруг, замечаю: ничего не прочла, все думала о Володе... Как я рада, что вздумала написать за тебя! Хочешь, я стану писать за тебя все письма? Это я сумею...

Она так радуется, что помогла ему! <...>.

— Милая моя голубочка, ты сядь подле меня, и не огорчись тем, что я скажу. Ты знаешь, у меня характер мнительный, робкий. Потому не придавай важности моим словам: ты знаешь, у нас все тихо, и я думаю о будущем только потому, что я трус. Воображаю то, чего, может быть, и не будет. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не был трус, то и нечего было бы мне думать ни о тебе, ни о Володе. Ты знаешь, я не думаю ни о своих глазах, ни о своем здоровье: за мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаешься, поверь мне. Одно может повредить тебе с Володею: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Будь что-нибудь теперь, нам с тобою еще ничего. Обо мне еще никто не позаботился бы. Но моя репутация увеличивается. Два-три года, — и будут считать меня человеком со влиянием. Пока все тихо, то ничего. Но, как я говорю и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашею свадьбою я говорил тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятного тебе. Но не могу не видеть, что через несколько времени...

— Так ты вот о чем! — Она побледнела. — Молчи, не смей говорить! — Она вскочила, и зажала ему рот. — Не смей! Молчи! Я слышала раз, — довольно[19]. Не смей! — Она убежала.

Натурально. Тогда она еще могла слушать, потому что еще и не воображала, что будет так расположена к нему. Натурально, теперь ей труднее слушать: прожили

вместе три года; и теперь она понимает, что это и может случиться; тогда и не понимала. Конечно, теперь вовсе не следовало говорить. Или следовало?

Он пошел за нею.

Она прижимала сына к груди и рыдала над ним: «Володя, мы с тобою будем сиротами!»

<...> Он стал говорить, что преувеличивал, что ей нечего обращать внимание на его слова, потому что она знает, у него мнительный и робкий характер. Когда она совершенно измучилась, она стала успокаиваться.

Потом она побранила его: зачем говорить об этом? Было сказано раз. И довольно. Она помнит. Но не хочет помнить. Зачем помнить? Пусть он никогда не смеет не только говорить ей, и сам пусть не смеет думать. Он думает потому, что всегда фантазирует. Это вздор. Ничего этого не будет.

Она довольно спокойно стала играть с Володею и к вечеру стала опять весела.

Глава третья

< . . . . >

Опера кончилась. Волгина стала надевать шляпу и взглянула на Миронова.

— Что вы такой хмурый? Думаете, я все еще сержусь на вас? Но вы ужасно расстроили меня, мой милый Петруша.

У Миронова всегда была охота дурачиться. Тем больше теперь: ему хотелось развлечь Волгину.

— Лидия Васильевна, пожалуйста, возьмите его с собою; я уверен, он прилетит провожать вас. Вы добрая, Лидия Васильевна: возьмите его с собою.

— Я уже сказала ему, что беру.

— Вы возьмите его, а я поеду к вам, поскорее, вперед <...>.

— Хорошо, — рассеянно сказала Волгина, рассеянно простилась с Рязанцевыми и поклонилась подходившему Нивельзину. Миронов убежал.

— Я очень любезна к новому знакомому, — сказала она, молча прошедши два или три яруса лестницы. — Но это и лучше, если вы с первого же нашего знакомства будете знать, что иногда вам будет бывать скучно со мною... Впрочем, я не всегда такая. Обыкновенно я веселая.

— Я исполнил ваше приказание.

— Видела. — Она опять замолчала.

Она молча дожидалась, пока подъедет карета; молча села в нее.

— О, какая тоска! — проговорила она, когда карета выехала из хаоса экипажей около театра. — Но я не хочу поддаваться ей, хочу быть веселою. Я не люблю тосковать. Говорите что-нибудь смешное, Нивельзин, заставьте меня смеяться... Впрочем, что ж я говорю, чтоб вы шутили, рассказывали смешные глупости? Я думаю, ваши мысли спутаны хуже моих... Конечно, так; потому что вы объясняете мою молчаливость смущением, раздумьем о себе и о вас. Вы должны так думать, потому что должны были заметить, что очень понравились мне; да если б и не заметили сам, я уже говорила вам. Но я думала не о себе или о вас, я думала о моем бедном муже... Ах, какая досада! При вас, едва знакомом, должна утирать слезы! Какая досада, что в карете не совершенно темно, чтобы вы не могли видеть, как я смешна! Расплакаться от мысли, что я вдова! Это смешно! В самом деле это смешно! Плакать о том, что я вдова! — Она засмеялась. — Будем же говорить что-нибудь веселое, Нивельзин; я хочу забыть свои мысли... Что же вы молчите? Да, я опять забыла, что у вас не может быть расположения смеяться и смешить... Да я и не могла бы слушать со вниманием, хоть бы вы стали рассказы-

вать самые смешные анекдоты. Лучше будем молчать, пока у меня нет охоты ни говорить, ни слушать.

Она замолчала.

— Вы человек с тактом, Нивельзин, — начала она минут через десять. — Вы умеете молчать, когда лучше всего молчать. Вам должна была казаться очень странною моя грусть; вероятно, даже смешно. Ах, я сама желала бы смеяться над нею!.. И буду смеяться. Алексей Иваныч (Волгин. — *П. М.*) уверяет, что я боюсь напрасно. Я не знаю, не понимаю, что такое делается у нас в России, что выйдет из этого. Я должна верить ему. Буду верить.

Она опять замолчала и начала спокойнее:

— Но у меня есть и свои опасения за него. От них он не может отговорить меня; потому что это я сама понимаю, это может понимать всякий. Какого здоровья может достать надолго, при такой работе? Придешь поутру звать его пить чай, он сидит и пишет; уверяет, что недавно проснулся; потом пьет чай, а у самого слипаются глаза: как же поверить ему, что он спал? Это бывает часто, Нивельзин; каждый месяц. И всегда работает целый, целый день, как встал, так и за работу, — и до поздней ночи. Ни напиться чаю, ни пообедать как следует, ему некогда. Схватит стакан и уйдет за свою проклятую работу; даже тарелку с последним кушаньем уносит в свой проклятый, проклятый кабинет. Только и отдыха, если кто придет к нему или ему надобно идти; да и от этого иногда только больше горя мне: прошло два, три часа днем без работы, он и сидит за нею ночью. Поэтому даже редко заставляю его идти или ехать со мною: думаешь, вместо отдыха, сделаешь ему больше изнурения. Какое здоровье выдержит такую жизнь? «Ничего, голубочка; я вовсе не так много работаю, как ты воображаешь»; я воображаю! Другой ответ: «Голубочка, нельзя иначе; и так я не успеваю сделать всего, что нужно». Бессовестный че-

ловек! ему ничего, что он огорчает меня!.. И для чего он убивает себя такою работою? Для того, чтоб у меня были лишние деньги? Ему самому ничего не нужно. Каждый раз, когда заказываешь ему новое платье, ссора с ним; заноет, заноет: «Зачем, голубочка?» «Напрасно, голубочка!» И ноет, спорит, пока не рассердит меня. Каждый раз это кончается тем, что я должна браниться. И это из-за всякой мелочи, из-за каждого галстука, из-за теплой фуражки на зиму! Каждый раз, получаешь огорчение. Покупаешь ему, радуешься, — нет, успеет огорчить. Это ужасный человек, с несноснейшим характером, совершенно безо всякой совести! Он даже не любит ничего. У него достает совести отрекаться ото всего. Он не любит никакого кушанья; как вам нравится это? И он тверд в своем: нарочно не ест своих любимых блюд, как только заметит, что готовишь их для него. Пока не поймет, ест, только это одно и мирит с ним, что недогадлив, ни на что не обращает внимания, совершенно слепой; пока не заметит, ест; заметил, что кушанье готовится для него, кончено: «Не хочу, голубочка». — «Почему не хочешь?» — «Не нравится, голубочка». — «Как же не нравится? Ты любишь это». — «Никогда не любил, голубочка, я не знаю, почему тебе так показалось». И спорит, спорит, пока выведет из терпенья. Тогда новая песня: «Ну, что же, твоя правда, голубочка: прежде нравилось; а теперь не нравится». Что прикажете делать? Как ни бранишь его, не помогает: не ест. Бросаешь, пока забудет, забудет, опять ест. Только это хорошо в нем, что беспамятен и ничего не замечает. И хоть бы не понимал, что надобно же готовить что-нибудь; почему ж не быть одному блюду и по его вкусу? Больше одного ему не нужно, и тем больше все равно, что я ем все. Толкуешь ему это. Понимает. Но уже такой характер. Иногда, заметно, он и сам не рад, что все только огорчает меня. Но не может исправиться. Как не может! Просто не хочет, потому что

в нем нет ни искры стыда, а жалости еще меньше. Говорит, что любит меня, а хоть бы сколько-нибудь пожалел! Огорчает меня каждый день, каждую минуту! Я не видывала таких скупых людей! Ему жаль, когда сделаешь какой-нибудь расход для него, хоть самый маленький: «Зачем, голубочка?» «Не нужно, голубочка!» Ему все кажется, что у меня мало удобств, — теперь, когда стала выезжать, — что у меня мало денег на наряды, на развлечения. Мои платья не нравятся ему! Мои платья! Каково? И хоть бы кто говорил, а то он, который сам даже и не отличает порядочную материю от самой плохой! «Голубочка, ты шила бы себе платья получше». Можно ли иметь платья лучше моих? Скажите, была ли, например, в опере хоть одна дама или девушка, которая была бы одета лучше меня? Богаче — почти все и в четвертом ярусе; но лучше ни одной и в бельэтаже. Нет, он недоволен. Чем, спросите его, — тем, что я пошла за него! Как вам это нравится? Заметили, он глядел, глядел на меня и начал утирать слезы; о чем? Об этом! Необыкновенно умен! Как будто есть на свете женщина счастливее меня! Мог бы сам видеть, счастлива ли я; и видит. Но совести нет у человека. Несносный характер!.. Я нисколько не ангел; но он и ангела вывел бы из терпенья! Я не понимаю, что это за глупый человек!.. Потому я вышла за него, что видела, какой это человек. Он не думал об этом; советовал мне идти за другого. Ах, сколько надоедал он мне этими просьбами: «Идите за него, идите за него», — надоел, надоел... «Не пойду, сказала ему и вам». Нет, свое: «Идите». Тот его друг, мой жених, был очень похож на вас, Нивельзин. Разумеется, понравился мне. Но я увидела, что с моим характером нельзя идти замуж: все мужчины воображают, Нивельзин, что они умнее и благоразумнее нас, что они должны управлять нами. Я решилась не идти замуж ни за кого. Мужчины не умеют только любить, Нивельзин. Они хотят господ-

ствовать. Они слишком глупы, они дикари, Нивельзин. Не будьте таким, когда женитесь...

Она замолчала.

— Вы не знаете, Нивельзин, какой это человек! И никто еще не знает! Только я одна знаю это. Я давно узнала это; хоть я и не ученая, и не видывала тогда ученых людей. Я увидела это из первых же наших разговоров, хоть они были пустые, хоть, разумеется, он не мог говорить со мною ни о чем ученом: я не поняла бы, как и теперь не понимаю; и не слушала бы, как и теперь не слушаю. Но это было видно мне. Я узнала, какой это человек; тогда все думали, что он пролежит весь свой век на диване с книгою в руках, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой у него характер! Потому что, без его характера, даже и при его уме, ему нельзя было бы так понимать все эти ученые вещи. Я, не ученая, увидела это из первых разговоров, пустых, обо мне, о пустяках, о моем счастье, — я увидела, какая разница между ним и другими! И ошиблась ли я? Вы знаете, как теперь начинают думать о нем. Но его время еще не пришло, они еще не понимают его мыслей, — придет его время, тогда заговорят о нем! И пусть будет с ним и со мною, что́ будет! Я хочу, чтоб о моем муже говорили когда-нибудь, что он раньше всех понимал, что нужно для пользы народа, и не жалел для пользы народа — не то, что «себя» — велика важность ему не жалеть себя! Не жалел и меня! И будут говорить это, я знаю! И пусть мы с Володею будем сиротами, если так нужно!

Она замолчала и задумалась. <...>.

Глава шестая[20]

<. . . . . >

Савелов не имел состояния и был не жаден на деньги; дорожил своею вполне заслуженною репутациею

бескорыстного человека и презирал внешний блеск. Квартира Савеловых была немногим больше квартиры Волгиных, и меблирована почти так же скромно.

Но если неподвижная мебель не очень большой гостиной была не блистательна, тем ослепительнее резал глаза эффект ходячей меблировки, которая вся собралась в гостиную: в то время, как приехала Волгина, в зале устанавливали раздвижной стол, и все съехавшиеся на обед были загнаны этим в одну комнату. Звездоносными группами они тихонько толклись вдоль окон гостиной. На пятнадцати или шестнадцати фраках и военных мундирах сияло чуть ли не десятка три звезд.

Хозяйка, выбежавшая в зал встречать гостью, провела ее мимо звездоносцев, не удостоив ни одного из них словом или знаком, что он может идти за нею и гостьею к дивану. И ни один звездоносец не осмелился сопутствовать дамам без приглашения: все потянулись в другую половину комнаты, распределились вдоль окон и солидно, тихо передвигались там, переминались, поговаривали, помалчивали, все смирно и в совершенном удовольствии.

И не только хозяйка предоставила этим смирным созвездиям заниматься между собою, как могут, — даже хозяин был так же бесцеремонен с ними. Савелова не было в гостиной. Тридцать звезд на пятнадцати сановниках не смели, как видно, обижаться: двигались вдоль окон, скромно сияя.

Внезапно они замерцали паническими переливами света, закопошились и обратились на дверь из зала. В зале раздался голос хозяина:

— Я замучил вас; но будьте добр: заезжайте в канцелярию и останьтесь там, пока доклад будет переписан, прошу вас об этом, не в службу, а в дружбу. Мне хочется, чтобы к шести часам он был здесь. Мы все тут и подписали бы его. Петр Степаныч также будет здесь, и в восемь часов я повез бы его Чаплину.

— Будьте уверен, в шесть часов доклад будет здесь, — отвечал другой голос, — конечно, чиновника, работавшего с Савеловым и теперь отпускаемого им. — Я надеюсь, что успею и прочесть внимательно, чтобы не было описок.

Чиновник говорил с Савеловым без подобострастного тона; так свободно, что даже не вставил «ваше превосходительство». В тоне Савелова не было чванства: он не был горд перед кем нечего было важничать.

— Этим не обременяйте себя: вы устали; дождитесь только, пока будет переписано все и станут сшивать. Вам надобно отдохнуть. Я могу поправить описки сам: когда буду читать гра̀фу, увижу и отмечу.

— Очень благодарен вам, Яков Кириллыч, за такое облегчение, — сказал чиновник, — действительно, я устал. Но и вы не меньше моего.

— Кланяйтесь Анне Ивановне, поцелуйте за меня Митю, Варенька такая большая, что не смею посылать ей поцелуя.

Конечно, это были жена и дети его сотрудника. Он был внимателен и добр, когда это было возможно.

Чиновник не боялся его, по всей вероятности. А сияние звезд было отчасти тревожно.

Хозяин показался в дверях; он был одет запросто, в сером пальто, несколько потертом по рубцам обшлагов; в дверях он замедлил шаг, расправляясь — «выпрямляясь» нельзя сказать, потому что он не был сгорблен: вероятно, он никогда не сгорбливался, — он повел плечами назад, несколько выгибаясь на спину, как делает человек, не сгибавший стана, но уставший от долгой работы, — стал расправляться, перегибаясь на спину, — но, увидевши Волгину, отказал себе в удовольствии кончить это фамильярное движение: перед созвездиями он не считал нужным церемониться, — но перед дамою он обратился в светского человека. Наскоро обошел звездоносцев, подавая обе руки, двоим враз, мимо-

ходом, милостиво наделяя их небрежными приветствиями; поспешил бросить эти созвездия, чтобы подойти к даме, и несколько минут сидел подле Волгиной.

Она ждала, что ее присутствие произведет на него очень неприятное впечатление. Зачем именно упросила ее приехать Савелова, она еще не знала. Но было несомненно, что тут будет какая-то борьба против него: кого и чего могла бы трепетать Савелова, если бы муж не был в союзе с противною стороною? Волгина ждала, что Савелов увидит в ней врага какого-нибудь своего плана или требования. Нет, он, очевидно, не придавал никакой особенной важности тому, что она тут. Через минуту Волгина даже увидела из его разговора: он знал, что жена пригласила ее, — жена пригласила ее с его согласия.

— Что же значит все это? — тихо спросила Волгина Савелову, когда он пошел, наконец, удостаивать созвездия своего хозяйского внимания. — Я не понимаю, чего вы можете опасаться. Ваш муж не думает, что вы призвали меня на помощь против него?

— Петр Степаныч просил, чтобы мы пригласили вас.

— Петр Степаныч? Вы сделали Петра Степаныча моим поклонником?

— Боже мой, боже мой! Не смейтесь надо мною! Я должна была просить Петра Степаныча. Мой муж не должен знать ничего. Он не простил бы мне.

Созвездия снова закопошились: слуга доложил о приезде его высокопревосходительства, Петра Степановича.

— Подавать обед, — громко отвечал на доклад хозяин, двигаясь встретить Петра Степаныча.

«Что ж это, — думала Волгина. — Чего она боялась от этого обеда, когда за обедом не будет никого, кроме этих стариков, которые ничтожны для нее и для ее мужа? Петра Степаныча нечего и считать: он свой для нее».

Петр Степаныч обошелся с подчиненными ему звездоносцами очень любезно, гораздо внимательнее, нежели Савелов; потом предался своей обязанности заниматься исключительно Волгиною. Он помнил, что он просил, чтобы она была приглашена.

Вошел слуга и доложил хозяйке, что повар просит извинить и обождать несколько минут: обед еще немножко не готов.

— Обождать, — то обождем, — весело и добродушно заметил Петр Степаныч.

Конечно, он не мог понимать — не мог предполагать, что задержка не в поваре. Волгина взглянула на Савелову, Савелова вспыхнула.

Это было хуже всего, что знала о ней, чего могла ожидать от нее Волгина. Пожертвовать любовником для нелюбимого мужа — дело такое обыкновенное, — гораздо более обыкновенное, нежели пожертвовать своим положением в свете для любви. Но тут было что-то менее обыкновенное. Какая-то проделка, при которой должен остаться в дураках Петр Степаныч, — и Савелова не предупредила человека, который так честно и сильно расположен к ней. Первым порывом Волгиной было сказать Савеловой: «Вы ждете еще кого-нибудь?» Но она удержалась: ей подумалось, что Савелова не могла бы добровольно участвовать в интриге против своего честного друга; что, вероятно, принуждение со стороны мужа было слишком грозно; что, вероятно, Савелова и сама достаточно чувствует унизительность своей роли перед Петром Степанычем. Волгина только взглянула на Савелову — и пожалела даже о том, что взглянула: Савелова совершенно растерялась от ее взгляда; так, только ее мужа надобно винить за ее пошлую роль. Волгина продолжала разговор с Петром Степанычем, чтобы дать ей время оправиться.

В дверях опять явился слуга и провозгласил:

— Его светлость, граф Илларион Илларионович Чаплин.

Созвездия вздрогнули и окаменели.

— Граф Чаплин! — с изумлением произнес хозяин и торопливо пошел в зал.

— Граф Чаплин! — сказал Петр Степаныч, наклонившись к Савеловой. — Вот почему обед не был готов! Граф Чаплин, — и вы не предупредили меня! И вы хотели, чтобы я был в дураках! Но нет, я несправедлив к вам, добрая, милая моя Антонина Дмитриевна, — тотчас же прибавил он. — Вы не могли хотеть обманывать меня. О, теперь я понимаю Якова Кириллыча! Он хочет сесть на мое место! Я не ожидал, что он захочет поступить со мною так! Интриги против меня! Но вас я не виню. Вы только боялись сказать мне. Яков Кириллыч интригует против меня! Горько мне, горько, Антонина Дмитриевна!

— Петр Степаныч! — только и могла проговорить она, и слезы брызнули у бедной женщины.

— Довольно, заметят, — шепнула Волгина.

Но не было большой опасности, что заметит кто-нибудь, пока еще не возвратился наблюдать Савелов. Если бы Петр Степаныч и Савелова обнялись, может быть, и то прошло бы не замечено никем из звездоносцев: так окаменели они от изумления и благоговения. Савелова успела отереть слезы, пока способность видеть и понимать возвратилась к звездоносцам. Да и тут им было не до хозяйки и не до Петра Степаныча: все внимание их было поглощено ожиданием неожиданного посетителя.

Посетитель подавал о себе предвестия, изумлявшие Волгину.

Вероятно, еще из передней начали доноситься в гостиную первые предвестия: посетитель ступал, производя ногами стук, подобного которому не могут делать сапо-

ги петербургского мужика, — они слишком легки, — для такого стука необходимы деревенские, мужицкие, двухпудовые. Вероятно, не в таких же сапогах ходит граф Чаплин? Как же он умудряется делать такую стукотню? Потом стало слышно сопенье, — громче и громче, — с храпом и сопом, раздалось: «Вот я и у вас, Яков Кириллыч. Поздравляю». Стук, соп и храп заглушили любезность, которую отвечал хозяин: слышно было только, что Савелов говорит: но что́ такое говорит, нельзя было разобрать. Стук, соп и храп усиливались, отдавались эхом по залу, — и вот отдались еще новым эхом, уже от стен гостиной: в двери ввалила низенькая, еще вовсе не пожилая человекоподобная масса.

Ввалила — потому что она не шла, а валила, высоко подымая колени и откидывая их вбок, хлопотливо работая и руками, оттопырившимися далеко от корпуса, будто под мышками было положено по арбузу, ворочаясь всем корпусом, с выпятившимся животом, ворочаясь и головою с отвислыми брылами до плеч, с полуоткрытым слюнявым ртом, поочередно суживавшимся и расширявшимся при каждом взрыве сопа и храпа, с оловянными, заплывшими салом крошечными глазками. Правда, такому тучному человеку нельзя иметь плавную, легкую походку; но другие, изредка встречающиеся, такие же толстяки, умеют ходить, хоть и неуклюжим образом, все-таки по-человечески, — умеют потому, что помнят о своем безобразии, стараются, чтоб оно не производило слишком отвратительного впечатления. Чаплин был совершенно без церемоний. Видя его милые движения, слыша его храп и соп, можно было удивляться только тому, что на нем военный сюртук, а не нанковый халат: как это нарядился военным разжиревший мясник?

Без малейшего сомнения, это был переодетый мясник: по лицу нельзя было не угадать. Не то чтобы оно имело выражение кровожадности или хоть жестокости;

но оно не имело никакого человеческого выражения, — ни даже идиотского, потому что и на лице идиота есть какой-нибудь, хоть очень слабый и искаженный, отпечаток человеческого смысла; а на этом лице было полнейшее бессмыслие, — коровье бессмыслие, — нимало не жестокое — ничуть не злое, только совершенно бесчувственное. Ни лавочник, ни трактирщик, ни разбогатевший мужик — превращающиеся иногда в таких толстяков, не утрачивают смысла до такой степени: они видят людей или природу, это поддерживает следы смысла на их лице. Только мясник, — человек, не смотревший ни на людей, ни на природу, смотревший все лишь на скотов и на скотов, мог приобрести такое скотское выражение лица.

И такой кровяной цвет лица. Мясник не кровопийца. Нет, он не пьет крови. Он только дышит запахом ее, — спокойно, беззлобно, — и с пользою своему здоровью: дышать запахом крови — это очень здорово. Благодаря этому, как бы ни заплыл жиром мясник, его лицо пышет цветущей кровяною свежестью. У всякого другого толстяка, так ожиревшего, лицо имеет сальный цвет, желтовато-тусклый. У этого сало пропитано свежею кровью, которою надышался он. Нет сомнения, это переодетый мясник.

Раскачивая выпяченным животом, раскидывая коленами и болтая оттопыренными руками, поматывая брылами, хамкая слюнявыми губами, переодетый мясник валил к Савеловой. С храпом и сопом мясник проговорил:

— Я приехал на именины Якова Кириллыча. Вот сюрприз вам. Поздравляю.

— Благодарю вас, граф; прошу садиться, — сухо отвечала Савелова. С провозглашением о приезде графа Чаплина Волгина не смотрела на Савелову: и без того Савеловой должно было быть слишком тяжело. Теперь, казалось Волгиной, Савелова ждет ее взгляда в награ-

ду, в одобрение своей решимости быть холодною с этим отвратительным человеком.

— Это прекрасно, — сказала Волгина, перенося взгляд через Савелову на Петра Степаныча и будто бы продолжая прежний разговор.

Петр Степаныч посмотрел на Волгину, не поняв:

— Вы сказали?

— А вы не слушали, что́ я говорила! О, как это мило! В наказание вам не хочу повторять.

— Действительно, я был рассеян в эту минуту и не вслушивался.

— И нет особенной потери.

— Вот и я здесь, Петр Степаныч, — проговорил мясник. — Здравствуйте. Очень рад. — Он опустился на диван подле Савеловой и обратился опять к ней: — Мне так приятно, что я приехал к вам.

— Благодарю вас, граф, — по-прежнему отвечала Савелова и немножко отодвинулась к Волгиной, потому что он уселся было локоть к локтю.

— Однако же, у вас довольно тепло, или это я так вспотел? Но мне чрезвычайно приятно, что я приехал к вам, — проговорил мясник, доставая платок, придвинулся опять поближе к Савеловой и принялся утираться. Помолчал, утираясь. — Ужасно вспотел, очень. — Он стал прятать платок, при этом подвинул губы к плечу Савеловой и потихоньку просопел в ухо ей: — А эта ваша знакомая кто? — От такого человека было уже чрезвычайною деликатностью, что он постарался просопеть вопрос потише.

— Лидия Васильевна, рекомендую вам: граф Чаплин. Лидия Васильевна Волгина, граф.

— Мне очень приятно, — просопел мясник, протягивая руку. Волгина отвечала только тем, что кивнула головою, и, повернувшись к Петру Степанычу, сказал:

— Пойдем ходить.

Мясник захлопал глазами, подержал руку на воздухе, хлопнул глазами еще и прибрал руку.

Отходя от дивана, Волгина расслышала, что мясник просопел Савеловой: «Она, должно быть, очень робкая?» Если б он и не был бессмыслен, все равно, он не мог бы подумать иначе: конечно, графу Чаплину еще не представлялось случая понять, какое чувство возбуждает его вид.

Ходя по пустому залу, Петр Степаныч жаловался Волгиной на коварство и неблагодарность Савелова. Как могли скрыть от него, что приглашен граф Чаплин? Савелову он не винит: она не скрыла б от него, если бы не велел муж. Но стал ли бы скрывать Савелов, если бы тут не было интриги? Вот уже две недели, или больше, Савелов не был у графа без Петра Степаныча, сколько было известно Петру Степанычу. Когда же он пригласил Чаплина? Очевидно, он бывает у Чаплина тайком от Петра Степаныча. Почему же тайком, если бывает не за тем, чтоб интриговать против Петра Степаныча? Потому, надобно было скрывать и то, что граф Чаплин приглашен.

— Я не хочу защищать Савелова, я не считаю его хорошим человеком. Но я почти уверена, что он не бывал у Чаплина тайком от вас, — сказала Волгина. Она полагала, что приглашение было сделано не мужем, а женою, по приказанию мужа.

— Как же нет, когда граф приглашен и Савелов скрывал от меня это? Зачем было бы скрывать, и кто мог бы пригласить?

— Я не могу ничего отвечать на эти вопросы. Но Савелов не так глуп, чтоб ездить к Чаплину тайком от вас: разве мог бы он надеяться, что подобные проделки останутся секретом? Я думаю, у него сотни врагов, которые следят за каждым его шагом.

— Это правда, — сказал Петр Степаныч, задумываясь. — Но кто же мог пригласить Чаплина? И зачем

было скрывать от меня, если тут нет интриги? — Добрый Петр Степаныч не мог и вообразить, что интрига ведется через Савелову: он был слишком убежден в ее дружбе. Потому-то Волгина и рассчитывала, что может возразить против его неудачной мысли о тайных визитах Савелова, не компрометируя Савелову. Волгина надеялась убедить ее, чтоб она сама открыла все Петру Степанычу, если интрига не разрушится: Петр Степаныч так любил ее, что простил бы ей все и мог бы служить ей опорою против требований мужа, если бы муж не согласился освободить ее от слишком тяжелой игры в кокетство с человеком, который создан не так, чтобы довольствоваться улыбками и тому подобными так называемыми невинными любезностями.

— Я не говорю вам, что тут не может быть интриги. Не мое дело говорить об этом. Но я почти совершенно уверена, что Савелов не бывал тайком от вас у Чаплина. Вы должны тем больше доверять моему мнению, что я вовсе не расположена к Савелову.

— Как же здесь Чаплин? Яков Кириллыч не из тех немногих, о которых Чаплин помнит сам. Кто-нибудь должен был сказать ему, что Яков Кириллыч празднует ныне свои именины. Кто-нибудь должен был прислать его сюда.

Петр Степаныч был так уверен в Савеловой, что скорее, нежели подумать о ней, готов был предполагать какое-нибудь постороннее влияние на Чаплина. Волгина должна была молчать, слушая его догадки о том, какой бы из его врагов или соперников мог войти в заговор с Савеловым.

В зал вошел Савелов и пошел подле Петра Степаныча. Лицо Савелова было угрюмо, — даже больше: печально и с тем вместе раздражено. Раза два прошли по залу молча.

— Дорого дал бы я, чтоб узнать, кто устроил эту интригу, и постарался бы отблагодарить этого челове-

ка! — проговорил Савелов сквозь зубы, стискивая кулак. — Петр Степаныч, если это дело не разъяснится, я подам в отставку.

— Что вы сказали, Яков Кириллыч? — Петр Степаныч был поражен изумлением.

— Я спрашивал у Чаплина, — Нина спрашивала у него, — кто сказал ему, что я ныне праздную свои именины, что он поступит очень мило, если приедет сюрпризом. Он говорит: «Никто, я сам». Это невозможно. Кто-нибудь подучил его, — бедняк не может понимать, на что́ подучили его! Он хотел оказать мне честь своим приездом, невинное существо! Кто из моих врагов подучил его? У кого могло быть столько хитрости, чтобы нанести мне удар такой ловкий? Этот человек может достичь своей цели. Он очень хорошо рассчитал мой характер. Я должен буду подать в отставку, если это дело не разъяснится. Я понимаю, в какое положение перед вами ставит меня эта интрига, и не соглашусь оставаться в таком положении. Выйти в отставку значило бы для меня с Ниною остаться без куска хлеба, не говоря обо всем остальном, почему я дорожу службою. Но этот человек знал, что для меня есть вещи дороже и куска хлеба, и всех расчетов, всех стремлений.

Он быстро ушел, не дожидаясь ответа Петра Степаныча.

— Он честолюбец, но он не мог бы так низко интриговать против меня, — сказал Петр Степаныч. — И вы слышали, — он хочет подать в отставку, если не обнаружится, что я ошибся? Он не любит шутить. Тем больше, такими словами.

Волгина должна была молчать. Только сама Савелова имела право сказать Петру Степанычу — как все это произошло.

Да и какое было дело Волгиной до того, что Савелов хочет ссадить Петра Степаныча и сам сесть на его место? Правда, Петр Степаныч был человек добрый, —

несомненно, с искренним желанием общей пользы. Но Волгина привыкла слышать от мужа: «Э, голубочка! Все равно, тот ли, другой ли: никто из них не может ничего сделать, как желал бы: больше ничего, как писари, которые пишут, что велят им писать». Она слишком хорошо видела теперь, что хоть муж ее говорил слишком резко и безусловно, но что, в сущности, почти так; что, например, Петр Степаныч ничто перед Чаплиным. Она не могла также не видеть, что насколько может Петр Степаныч поступать так или иначе, он поступает во всем по мыслям Савелова. Какая же будет потеря, если Савелов и займет его место? Волгина не могла компрометировать Савелову, чтобы сберечь должность Петру Степанычу.

Эффектное уверение Савелова, что он подаст в отставку, совершенно разбило мысли Петра Степаныча.

Чем больше думал этот неглупый, но далеко не чрезвычайно умный человек, тем больше убеждался, что Савелов не ждал приезда Чаплина. Если бы ждал, не остался бы в пальто: оставаться в пальто, когда ждешь графа Чаплина, это слишком фамильярно. Невозможно. Да и жене он велел бы принарядиться: она даже не в бальном платье. Да и по этикеткам на бутылках видно, что не ждали Чаплина: нет слишком высоких сортов вин; да и обед будет посредственным: повар у Савеловых очень, очень немудрый; как было бы не позвать аристократичного повара, если бы ждали Чаплина? А Петр Степаныч знал, что не приглашали другого повара. Словом, все мелочи доказывали, что Савеловы не ждали графа Чаплина. Не могли они рисковать, чтоб он остался недоволен обедом и винами. А это может быть: останется недоволен.

И вот уже четверть часа Чаплин здесь, а обед все еще не подан. Очевидно, когда после приезда Петра Степаныча было прислано от повара сказать, что обед еще не готов, тут не было уловки дожидаться Чаплина: дей-

ствительно, повар не успел управиться с обедом, слишком превосходившим обычные требования.

Наконец явилась прислуга с чашками супу на подносах. В гостиной тихо, скромно зашелестели десятки сапогов, — это звездоносцы устраивали из себя свиту; паркет застонал под сапогами мясника, и граф Чаплин, с храпом и сопом, явился, ведя под руку хозяйку к столу. Он занял место по одну сторону ее. По другую, против него, было место Волгиной; подле Волгиной место Петра Степаныча.

Предположение Петра Степаныча насчет обеда и вин оправдывалось. Граф Чаплин несколько раз изволил выразиться: «Не очень-то; да, соус-то не очень-то»; или: «А повар-то, видно, не очень-то»; или: «А винцо-то не очень-то». Граф Чаплин не изволил стесняться в выражении своих мнений.

Но зато он не стеснялся и в своей манере кушать.

Он находил, что кушанье «не очень-то», но благоволил кушать. Волгина жила в деревне, часто бывала на праздниках у поселян: она не видывала, чтобы самый неопрятный из мужиков держал себя за столом так мило, как изволил кушать граф Чаплин. Когда она была ребенком, отец брал ее с собою в свои служебные разъезды; иногда ему приходилось останавливаться на постоялых дворах, и не раз она видела, как едят извозчики, — люди, знаменитые в народе тем, что едят очень много: она не помнила ни одного такого прожорливого, как его светлость граф Чаплин. Он накидывался на каждое кушанье, будто не ел трое суток, и жрал каждого по две, по три порции. Соусы текли с его усов, по его отвислому подбородку: обсасывая кости, он мазал себе всю нижнюю половину рыла; засаливши салфетку, утерся ею по всему лицу, вымазал соусом даже виски; слуга подал другую салфетку, он утер соус, — и через пять минут новые полосы нового соуса очутились у него на лбу. Скатерть на поларшина кругом его

тарелки была вся сплошь залита. Куски мяса валились у него изо рта в тарелку ему и кругом, и мимо стола, на живот ему, на пол. Волгина отворачивалась, чтобы не видеть, как он жрет; но в ее ушах раздавалось чавканье, чмоканье, фырканье.

Савелова могла бы не очаровывать его, пока он был занят жраньем: пока он жрал, он был равнодушен ко всякому другому очарованию. В начале стола Савелова и не очаровывала его: наскоро совала ему на тарелку новый кусок, — через минуту опять: «Кушайте, граф», — и только, даже не улыбалась. Но вдруг улыбнулась ему. Волгина взглянула на противоположный конец стола, где сидел хозяин: хозяин держал против глаз стакан с красным вином, всматривался в него и был недоволен; так он и сказал соседу: «Это вино поддельное, не пейте его» — и отдал приказание слуге: «Возьми эту бутылку, дай другую».

Несколько раз Волгина взглядывала в его сторону, при внезапных усилениях любезности Савеловой к милому гостю. Но уже не могла поймать Савелова в том, как он отдает безмолвные приказания жене. Для него довольно было быть пойманным один раз. Теперь он уже понимал, что Волгина его враг. Она не могла много мешать ему в отдаче приказаний. Ей нельзя было часто и подолгу смотреть так далеко в сторону: заметили бы. А он с женою сидели лицом против лица.

Чем дальше, тем любезнее становилась хозяйка с милым гостем. Вот она переложила кусок со своей тарелки... И этой любезности мало: она сама стала резать ему кушанье, на его тарелке, склоняясь к нему... Она ест мороженое с одной тарелки с ним... Милый гость жрал очень проворно; но столько, что каждое блюдо доедал последний. Так и при окончании обеда: все должны были ждать, пока граф накушается фруктов. «Ну, не довольно ли будет!» — просопел он в нерешительности. — «Кажется, что довольно. Вот, по сих мест», —

он провел рукою по месту, где у других людей в военном мундире виден воротник, а у него висели брылы подбородка: «Больше не полезет», — и сунул в пасть персик целиком, хамкнул и выплюнул косточку. «Еще один, пополам со мною», — сказала хозяйка и разрезала новый персик. «Не могу; ей-богу, не полезет, — разве сама положите в рот, — ну, тогда полезет», — просопел милый гость, и половина персика была положена в пасть ему.

Стулья загремели. Милый гость, захрапевши от вставанья, присовывал локоть к Савеловой. Волгина положила руку на ее талию: «Вы извините, граф: мне кажется, что Антонине Дмитриевне надобно отдохнуть». Она повела Савелову. Чаплин оставался, хлопая глазами. < . . . . >



"будущее светло и прекрасно"



<СОЦИАЛИЗМ И КОММУНИЗМ, НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПОБЕДЫ НОВОГО СТРОЯ>

Сущность социализма относится собственно к экономической жизни. Но не в одном экономическом быте должны произойти коренные перемены: им подвергается вся жизнь человека: и его отношения к другим людям по кровным или душевным привязанностям, и его воспитание, и его национальные отношения и т. д. Все эти перемены будут вести к цели, сходной с целью социализма, к улучшению жизни человека. Но тем не менее задача о переменах чисто экономических есть задача очень различная от усилий к улучшению других сторон жизни. У сен-симонистов эта экономическая задача еще расплывалась в неопределенной экзальтированной жажде пересоздать вообще всю жизнь человека. Характеристическою чертою их учения были пылкие тирады о какой-то «любви». Конечно, в сущности следовало тут разуметь просто любовь к ближнему, замену нынешнего враждебного эгоизма добрым расположением между людьми, и не трудно было бы истолковать эту обязанность любви в таком смысле, чтобы более всего думать о таком экономическом устройстве, при котором людям не было бы надобности враждовать, а была бы выгода желать добра друг другу. Но прямой житейский смысл слова любовь не тот, и сен-симонисты не замедлили понять всю свою идею именно с такой стороны, с которой эротический смысл стал господствовать над экономическим и всяким другим. Вопросы о браке и о свободной любви скоро

привлекли к себе главное их внимание. Таким образом в сен-симонизме элемент, собственно называющийся социализмом, был еще под владычеством стремлений, принадлежащих не экономической жизни, а так называемой жизни сердца. Фурьеризм уже прямо занимается всего более экономическою стороною жизни. Но она в нем рассматривается нераздельно от всех других научных, нравственных и общественных вопросов: в систему Фурье входят и теория планетной жизни земного шара с астрономиею, геологиею, и психология, и вопрос о семейных отношениях, и вопрос о воспитании и т. д. Надобно даже сказать, что экономическая часть системы, хотя и составляет самый обширный предмет исследования, исследуется у фурьеристов на основании психологической их теории, которая и служит корнем всего учения. Мы не говорим, что это неосновательно в безусловном теоретическом смысле — напротив, основанием всему, что мы говорим о какой-нибудь специальной отрасли жизни, действительно должны служить общие понятия о натуре человека, находящихся в ней побуждениях к деятельности и ее потребностях. Мы вовсе не думаем также сомневаться в надобности или достоинстве такой науки, которая была бы сводом или экстрактом всех частных наук. Но нельзя не сказать, что эта энциклопедия не уничтожает собою надобности в отдельной разработке частных наук и что она скорее должна называться философиею, нежели наукою о народном хозяйстве или политическою экономиею или социализмом. Мы хотим сказать, что фурьеризм еще имеет характер слишком энциклопедический или философский, и социалистическое движение при дальнейшем своем развитии должно было получить вид более частный или специальный, чем какой имеется в фурьеризме <...>.

<...> Потому нынешний социализм все свое содержание ограничивает экономическою стороною жизни, точно так же, как политическая экономия <...>.

<...> Быть может, здесь нелишне будет сделать общую заметку о том, в каком виде представляется нам вероятнейший ход будущей истории экономического быта.

Коммунизм, по справедливому замечанию Милля, берет за основание общественного устройства идеал более высокий, чем каковы принципы социализма. По этому самому эпоха коммунистических форм жизни, вероятно, принадлежит будущему, еще гораздо более отдаленному, чем те, быть может, также очень далекие времена, когда сделается возможным полное осуществление социализма.

<...> Поэтому неразвитая масса усваивает себе коммунистические стремления гораздо легче, чем социалистические, когда по стечению обстоятельств устремляется на переделку общественных отношений. Чтобы сочувствовать социализму, надобно быть приготовленному к довольно сложным комбинациям идей; чтобы сочувствовать коммунизму, достаточно чувствовать на себе отяготительность существующих экономических отношений и иметь обыкновенное человеческое сознание, что несправедливо терпеть нужду человеку, работающему или готовому работать, когда пользуются благосостоянием или богатством люди праздные. Но нечего обольщаться этою легкостью, с какою овладевают мыслями массы коммунистические идеи во время общественных потрясений. Нравы, обычаи, понятия, нужные для коммунистического быта, чрезвычайно далеки от понятий, обычаев, нравов нынешних людей, и при первых же попытках устроить свою жизнь по своим коммунистическим тенденциям люди находят, что эти тенденции, быстро увлекшие их, нимало для них не пригодны. Выражаясь вульгарно, масса тотчас же чувствует, что напросилась с ковшом на брагу...

Но мы не думаем, чтобы и самый социализм скоро приобрел господство в экономической жизни. Мы видим в истории, что очень долгого времени требовало порядоч-

ное осуществление перемен, совершенно ничтожных перед этою. <...>.

Замена аристократического феодализма господством среднего сословия оказалась в истории делом, требующим нескольких веков, да и это дело после нескольких веков все еще не покончено в самых передовых странах. Не говоря уже об Англии, не говоря о Франции... даже вон в Соединенных Штатах, где как будто вовсе и не существовало аристократии, она... обнаружила изумительную силу, подняв южные штаты на войну для сохранения своего господства над Союзом. Сколько же времени понадобится, чтобы приобрел господство в исторической жизни простой народ, которому одному и выгодно и нужно устройство, называющееся социалистическим! По всей вероятности, это будет история очень длинная. Но ведь если 30-летняя война продолжалась 30 лет, из этого еще не следует, что не было сражений и в первый год этой войны. По одному большому сражению в начинающейся вековой борьбе за социализм было уже дано в обеих передовых странах Западной Европы. Во Франции это была июньская битва на улицах Парижа; в Англии колоссальная апрельская процессия хартистов по лондонским улицам. Обе битвы были даны в 1848 г. Обе были проиграны. Но на нашем веку еще будут новые битвы, — с каким успехом, мы увидим. А впрочем, с каким бы успехом ни были даны они, мы должны вперед знать, что проигрыш только возвращает дело к положению, из которого должны возникать новые битвы, а выигрыш, не только первый, который и сам когда-то еще будет, — но и второй, и третий, и, может быть, десятый еще не дает окончательного торжества, потому что интересы, охраняющие нынешнюю экономическую организацию, страшно сильны. Разве одним ударом или двумя ударами была разрушена Римская империя?

(Подстрочные примечания к переводу Милля).

<СОЦИАЛИЗМ И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА> [21]

<...> Одно из обыкновенных возражений против новых экономических теорий (социализм и коммунизм. — *П. М.*)... будто ими стесняется свобода человека. Заметьте кстати, что у Милля, если нет этого пошлого возражения, то слегка высказывается мнение, что при тех усовершенствованиях принципа личной собственности, какие предполагает в будущем Милль, принцип этот давал бы человеку больше свободы, чем возможно при другом принципе, о котором теперь идет речь. Как там было бы в отдаленном будущем при усовершенствовании, предлагаемом Миллем, об этом мы поговорим ниже, когда будем рассматривать, могут ли довести до цели, выставляемой Миллем, реформы, им предлагаемые. А теперь мы пока просим читателя не делать сравнений, а просто без всяких сравнений сказать: находится ли хотя малейшее стеснение для свободы человека в плане, который он сейчас будет читать, — если в нем нет ни малейшей тени стеснения, то можно будет, кажется, сказать нам впоследствии, что противоположный принцип уже ни при каких усовершенствованиях не превзойдет его своею просторностью для свободы.

<...> Теперь идея товарищества дело еще новое, и для ее осуществления нужна некоторая теоретическая подготовленность. Потому на первый раз ведение дела поручается человеку, которого правительство признает представляющим надлежащие гарантии знания и добросовестности.

Приглашаются желающие участвовать в составлении товарищества. Число участников в каждом товариществе полагается от 1500 до 2000 человек обоего пола; они принимаются в товарищество с согласия директора, который отдает предпочтение семейным людям над бессемейными. Таким образом, товарищество состоит из 400 и 500 семейств, в которых будет до 500 или больше взрос-

лых работников и столько же работниц. Как поступили они в товарищество по своему желанию, так и выходить из него каждый может, когда ему вздумается.

В государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок. Для товарищества всего выгоднее будет купить одно из таких зданий, поправка которого не требовала бы особенных расходов. Но если оно найдет выгоднейшим, то можно построить новые здания; словом сказать, дело это ведется совершенно по такому же расчету, как постройка или покупка здания для какого-нибудь обыкновенного промышленного заведения. Надобно только, чтобы при здании было такое количество полей и других угодий, какое нужно для земледелия по расчету рабочих сил товарищества.

Разница от обыкновенных фабрик и домов для помещения работников состоит в том, что квартиры устраиваются с теми удобствами, какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить в них. Так, например, квартира для семейного человека должна иметь число комнат, нужное для скромной, но приличной жизни. Число квартир устраивается приблизительно соразмерное с числом желающих пользоваться такими квартирами. Но кому не угодно жить в этом большом здании, тот может нанимать себе квартиру, где найдет удобным. Обязательного правила тут нет никакого.

При здании находятся принадлежности, которые требуются нравами или пользою членов товарищества. По нравам того народа и его потребностям такими принадлежностями считаются: церковь, школа, зала для театра, концертов и вечеров, библиотека. Кроме того, разумеется, должна быть больница.

По архитектурным сметам, то есть цифрам, точность которых каждый может проверить, оказывается, что такое здание, со всеми своими принадлежностями и удобствами, будет стоить такую сумму, что лица, поселив-

шиеся в нем, получат квартиру и гораздо лучше, и гораздо дешевле помещений, в каких живут ныне. Цена за квартиры полагается такая, чтобы за вычетом ремонта капитал, затраченный на здание, давал процент, обычный в том государстве.

Товарищество будет заниматься и земледелием, и промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности. Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются за счет товарищества.

Словом сказать, товарищество находится относительно своих членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ними совершенно такие же счеты, как фабрикант с работниками, домохозяин с жильцами. Нового и неудобоисполнимого тут очень мало, как видим.

Теперь, когда здание готово и все нужное для работ приобретено, начинается дело.

Одним из важных экономических расчетов служит то, что земледелие требует громадного количества рук в недолгие периоды посева и уборки, а в остальное время представляет мало занятий. Товарищество должно пользоваться временем как можно расчетливее, потому во время горячих земледельческих работ все члены его приглашаются заниматься земледелием, а другими промыслами и работами занимаются в свободное от земледелия время. Впрочем, обязательности и тут нет никакой: кто чем хочет, тот тем и занимается. В каждом промысле для каждого разряда работников существует та самая плата, какая обычна для него в тех местах. Какое же средство привлечь все руки к земледелию, когда оно требует наибольшего числа рук? Товарищество знает, что количество работы составляет сущность дела, потому во время посева и уборки назначает за земледельческую работу такую плату, чтобы огромное большинство членов его, занимающихся обыкновенно промыслами, увидело для себя выгоду обратиться на время к земледелию. Как ви-

дим, товарищество держится в этом случае обыкновенных в нынешнее время средств: оно держится их и во всех других случаях. Работники, не занимавшиеся до той поры земледелием, на первый год, конечно, будут пахать или косить хуже записных земледельцев; но под их руководством исполнят новое дело сносным образом, а на следующие годы вовсе привыкнут к нему.

Мы говорили, что каждый занимается тою работою, какую знал или хочет выбрать. Разумеется, однакож, что товарищество и в этом случае руководится расчетом. Сапожники, портные, столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет выгодным иметь такие мастерские. Но если бы иной член вздумал заняться производством ювелирных вещей, товарищество рассудит, нужна ли ему такая работа: если нужна, оно заведет ювелирную мастерскую, если нет, то скажет ювелиру, что, когда он непременно хочет заниматься только ювелирством, а не другим чем-нибудь, то пусть ищет себе работы, где ему угодно, а оно, товарищество, не может доставить ему мастерской такого рода. На первый раз этот разбор возможного и невозможного зависит от благоразумия директора, который набирает членов.

Но власть директора не ограничена только до того времени, пока записываются поступающие члены; как только состав товарищества определился, члены его по каждому промыслу выбирают из своего числа административный совет, согласие которого нужно во всех важных делах и вопросах, относящихся к этому промыслу; а все члены товарищества выбирают общий административный совет, который постоянно контролирует директора и выбранных им помощников и без согласия которого не делается в товариществе ничего важного.

Но вот прошел год; члены товарищества успели достаточно узнать друг друга и приобрести опытность в том, как ведутся дела. Власть прежнего директора, назначенного правительством, становится уже излишней и

совершенно прекращается. Со второго года все управление делами товарищества переходит к самому товариществу; оно выбирает всех своих управителей, как акционерная компания выбирает директоров. Быть может, опыт и наклонности членов товарищества указали неудобства некоторых определений устава, которым управлялось товарищество в первый год. В таком случае что же мешает товариществу изменить их по своим надобностям и желаниям? Конечно, если первоначальный директор был человек рассудительный, если он принимал людей в члены товарищества с осмотрительностью, то члены набрались такие, которые понимают, в чем сущность дела, к которому они присоединились. Они, вероятно, понимают, что товарищество существует для возможно большего удобства и благосостояния своих членов, что сущность его состоит в устройстве, по которому каждый работник был бы свободным человеком и трудился в свою пользу, а не в пользу какого-нибудь хозяина. Вероятно также, что эти люди будут люди, а не звери, то есть не станут забывать, что общество обязано, по возможности, заботиться о сиротах и других беспомощных своих членах; вероятно, они не захотят уничтожить ни школы, ни больницы, видя, что есть у товарищества достаточно средств для их содержания. А если так, то они останутся верны духу и цели своего товарищества и тогда, когда от них будет зависеть изменять, как им самим угодно, устав его. А если так, то надобно полагать, что устав этот они не испортят, а разве усовершенствуют. Что именно сделают они для его усовершенствования, это уже их дело, а наше дело только рассказать, какой порядок заводится в товариществе первоначальным уставом, действовавшим в первый год; одну часть его, относящуюся к производству, мы изложили; теперь займемся другою, относящеюся к распределению и потреблению.

Можно, кажется, предположить, что работники, полу-

чая от товарищества обыкновенную плату обыкновенным порядком, будут работать не хуже обыкновенного. Мы предполагаем, что управлению товарищества едва ли понадобится прибегать к исключению какого-нибудь члена товарищества за леность, а если понадобится — что делать! — оно исключит его, как отпускает фабрикант слишком ленивого работника. Но ленивых работников будет в товариществе меньше, нежели на частных фабриках; имея, как мы увидим, более прямую выгоду от усердия в работе, члены товарищества, вероятно, останутся верны общему качеству человеческой природы, по которому усердие к делу измеряется выгодностью его, и потому надобно полагать, что работа в товариществе пойдет успешнее, чем на частных фермах и фабриках, где наемные рабочие не участвуют в прибыли от своего труда.

Если у фабриканта остается значительная прибыль, за вычетом заработной платы и других издержек производства, то остается она и у товарищества. Одна часть этой прибыли пойдет на содержание церкви, школы, больницы и других общественных учреждений, находящихся при товариществе; другая — на уплату процентов по ссуде из казны и на ее погашение; третья — на запасный капитал, который будет служить, так сказать, застрахованием товарищества от разных случайностей. (Если товариществ много, этот запасный капитал служит основанием для их взаимного застрахования от разных невзгод. Когда же возрастание его представит возможность, он также обращается на пособие вновь организованным товариществам.) За покрытием всех этих расходов должна остаться значительная сумма, которая пойдет в дивиденд всем членам товарищества, каждому по числу его рабочих дней.

<...> Этот дивиденд составляет одну сторону выгодности товарищества для его членов; он возникает из производства. Другую сторону выгодности доставляет по-

средничество товарищества в расходах его членов на потребление.

Мы уже говорили, что все желающие члены пользуются в общественном здании квартирами, которые лучше и дешевле обыкновенных. Точно так же они могут брать, если захотят, всякие нужные им вещи из магазинов товарищества по оптовой цене, которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной. Кому, например, кажется удобным покупать сахар по 20 коп. за фунт, а не по 30, как он продается в маленьких лавках, тот может брать его из магазина товарищества, которое покупает сахар прямо с биржи, стало быть, имеет его 30-ю процентами дешевле, чем получается он из мелких лавок. Но, разумеется, кому угодно платить не 20, а 30 коп. за фунт, тот может покупать его, где ему угодно. Для людей небогатых главный расход составляет пища. Кому угодно самому готовить свой обед, может готовить его, как хочет. Но кто захочет, тот может брать кушанья к себе на квартиру из общей кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обходятся они в отдельном маленьком хозяйстве; а кому угодно, тот может обедать за общим столом, который стоит еще дешевле, нежели покупка порций из общей кухни на квартиру.

Нам кажется, что во всем этом нет пока ровно ничего особенно ужасного или стеснительного. Живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и кроме обыкновенной платы получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда.

Вот именно этот самый план имеет свойство возбуждать в экономистах отсталой школы неимоверное негодование своею ужасною притеснительностью, своим противоречием со всеми правилами коммерческого расчета, своею противоестественностью и своим пренебрежением к личному интересу, без которого нет энергии в труде <...>.

Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных?

(Из работы «Очерки из политической экономии (по Миллю)»).

<СОЦИАЛИЗМ И ТРУД>

Не знаем, можно ли считать леность естественным пороком даже у немногих отдельных лиц: обыкновенно, стоит только всмотреться ближе в историю ленивца, и мы убедимся, что не природа создала его ленивцем, а обстоятельства отняли у него охоту работать. Но если поверхностные наблюдатели могут еще думать, что иные отдельные люди от природы расположены к лености, то совершенно нелепо и ненатурально воображать, чтоб целый народ мог иметь по природе особенное влечение к этому пороку. Нет, человек по природе своей находит наслаждение в труде, имеет естественную потребность работы, томится тоскою, если не работает, если бездействие не есть только отдых после работы, отдых, вызывающий на новую работу с свежими силами.

<...> Подобно разврату, подобно страсти к затемнению рассудка наркотическими средствами, и леность развивается не вследствие климатического влияния, а вследствие исторических отношений, и, подобно тем порокам, исчезает с переменою обстоятельств народной жизни.

(Из рецензии на «Письма об Испании» В. П. БОТКИНА).

Человек трудится отчасти для того, чтобы иметь продукт, отчасти для того, чтобы наслаждаться самим трудом. Присутствие или по крайней мере значительное развитие второго бескорыстного элемента в труде зависит <...> от некоторых условий. Каждая деятельность, долженствующая по своей натуре доставлять наслаждение человеку, может обращаться в неприятность для него, если происходит в неблагоприятных для нее обстоятельствах.

(Из работы «Варианты «Очерков из политической экономии (по Миллю)»).

Есть теория, утверждающая, что неприятные ощущения, производимые трудом в трудящемся человеке, проистекают не из сущности самой деятельности, имеющей имя труда, а из случайных, внешних обстоятельств, обыкновенно сопровождающих эту деятельность при нынешнем состоянии общества, но устраняющихся от нее другим экономическим устройством. Теория эта прибавляет, что, напротив, сам по себе труд есть деятельность приятная, или по термину, принятому этою теориею, деятельность привлекательная, так что, если отстраняется внешняя неблагоприятная для труда обстановка, он составляет наслаждение для трудящегося.

Мы должны предоставить личному мнению читателя суждение о том, справедлива ли изложенная нами теория в абсолютном своем развитии, когда она утверждает, что *никакой* род труда не заключает сам в себе ничего неприятного. Экономическое устройство, которое считается рациональным в этой теории, до сих пор еще не осуществлено, и потому нельзя с достоверностью знать, в том ли именно размере изменится при этом устройстве характер *всякого* труда, как предполагает она.

<...> Действительно ли во всех *без исключения* ро-

дах труда неприятные ощущения происходят *единственно* от внешней неблагоприятной обстановки? Действительно ли *никакой* род труда не заключает сам в себе абсолютно *ничего* неприятного? Этого нельзя решить при нынешнем состоянии знаний; но и при нынешнем состоянии знаний уже положительно надобно сказать, что *почти* во всех родах труда, и в том числе *во всех важнейших* по экономическому значению, *почти* все неприятные ощущения производятся не самою сущностью труда, а только внешнею, случайною обстановкою его; что почти все роды труда, и в том числе все важные роды его имеют по своей сущности приятность или привлекательность, которая далеко превышает их неприятную сторону, если даже есть в их сущности неприятная сторона (существование которой сомнительно), так что при отстранении неблагоприятной, случайной и внешней обстановки почти всякий, и в том числе всякий важный в экономическом отношении, труд составляет для трудящегося не неприятность, а удовольствие.

Это подтверждается ежедневным опытом и естественными науками. Каждый на себе и на других может замечать, что труд часто доставляет ему наслаждение. Анализируя эти случаи и случаи противного, когда труд составляет не удовольствие, а обременение, каждый может видеть, что ощущение приятное производится трудом всегда, когда существуют следующие три условия: во-первых, когда труду не препятствуют слишком сильные внешние помехи; во-вторых, когда человек совершает его по собственному соображению о его надобности или полезности для него самого, а не по внешнему принуждению; в-третьих, когда труд не продолжается долее того времени, пока мускулы совершают его без изнурения, вредного организму, разрушающего организм. Анализ показывает, что неприятность труда всегда происходит от неисполнения этих условий.

Легко заметить, что труд не отличается в этом отно-

шении ни от какой другой органической деятельности. Каждая из них становится неприятной при неисполнении условий, перечисленных нами. Например, никто не скажет, чтобы еда хорошей пищи или слушание хорошей музыки, или какие-нибудь гимнастические развлечения вроде танцев, прогулки и т. п. были сами по себе неприятны; напротив, сами по себе они составляют удовольствие, наслаждение. Но если человек танцует не потому, чтобы ему самому вздумалось танцевать, а по какому-нибудь внешнему понуждению, танцы уже составят для него обременение, скуку, досаду. Точно так же они становятся неприятны, когда продолжаются более, нежели сколько времени может заниматься ими организм без изнурения. Это мы постоянно замечаем на балетных танцовщицах; замечаем на самых любящих танцы молодых людях, когда бал происходит или в неудобное для них время, или они отправляются на него не по собственному желанию, или когда он тянется слишком долго. Самый приятный концерт, самый приятный спектакль становится неприятен для меломанов и театралов, если бывает слишком продолжительным. Когда желудок уже пресыщен пищею, самое вкусное блюдо становится отвратительным, и если нельзя от него отказаться, то еда бывает большою неприятностью.

Из этого мы видим, что приятность или неприятность труда подчинена тем же самым условиям, как приятность или неприятность всех других органических деятельностей. Труд различается в этом смысле от светских развлечений и разных родов физического или умственного наслаждения не тем, чтобы его неприятность происходила не точно от таких же внешних обстоятельств, от каких получают неприятность еда, танцы, слушание концертов и т. д., а просто только тем, что при труде гораздо чаще бывают эти неблагоприятные внешние обстоятельства, нежели при собственно так называемых удовольствиях или занятиях, обыкновенно называемых приятны-

ми. Чрезвычайно редко бывает, чтобы человек ел по внешнему принуждению или больше, чем приятно для него; но чрезвычайно часто бывает, что человек трудится по внешнему принуждению, или больше, нежели удобно для его организма.

Из этого возникает новый вопрос: отчего же происходит, что труд гораздо чаще совершается под условиями, дающими ему неприятность, нежели совершаются те органические деятельности, которые собственно называются удовольствиями? Происходит ли эта слишком частая неблагоприятность внешней обстановки от самых предметов, на которые обращен труд, или от причин, столь же посторонних, как те, которыми производится неприятность удовольствий? Подробное исследование этого вопроса найдет свое место в учении о распределении продуктов труда <...>. Здесь мы предварительно, и только мимоходом, заметим лишь одно обстоятельство: те явления общественной жизни, которые называются удовольствиями, бывают обыкновенно производимы обращением человеческой мысли и воли собственно на произведение именно этих явлений. Например, если происходит спектакль, он происходит собственно оттого, что люди, составлявшие его, хотели устроить именно спектакль, а не что-нибудь другое. Поэтому они и устраивали дело так, чтобы оно происходило с наивозможно лучшим устранением всех невыгодных для него обстоятельств. Например, они устроили спектакль в удобном для зрителей здании, чтобы ветер, дождь или холод не мешал публике заниматься собственно тем делом, за которым она пришла в театр, то есть смотрением на сцену; время для спектакля выбрано такое, в какое удобнее всего публике заниматься спектаклем. Словом сказать, приняты все возможные меры для удобства дела. Невозможно сомневаться в том, что именно только сосредоточением забот собственно на этом пункте достигается приятность спектакля для публики. Попробуйте снять крышу с оперы, и все

уйдут из нее с негодованием, и разве только палкою загоните вы публику в оперу, пока крыша остается раскрытой. Попробуйте назначить начало оперы в три часа дня, когда всем хочется обедать, или в три часа утра, когда всем хочется спать, а не ехать в спектакль, и почти никто не пойдет в оперу добровольно, да и те немногие, которые пойдут, уйдут из нее с недовольством.

<...> Обстановка труда до сих пор везде чрезвычайно неблагоприятна, потому что дается ему такою организациею общества, которая была устроена для деятельностей, совершенно не похожих на труд и требующих характера отношений, противоположного тому, какой нужен для труда.

(Из книги «Основания политической экономии»).

Спора нет в том, что при нынешней обстановке труда довольно редко служит он наслаждением. Но все-таки есть множество отдельных фактов по каждой отрасли производительного труда, доказывающих, что сама по себе эта отрасль труда доставляет трудящемуся наслаждение, как скоро соблюдены известные условия, сущность которых состоит лишь в том, чтобы устранены были обстоятельства, мешающие успешности труда.

Устранение обстоятельств, мешающих успешности труда, конечно, должно составлять предмет исследований науки, занимающейся вопросом о материальном благосостоянии человека. Обыкновенная экономическая теория слишком мало обращает внимания на эту сторону задачи. Она подробно занимается лишь вопросами об устранении препятствий второстепенных, забывая о самой главной и всеобщей причине того, что труд ныне вообще не имеет полной успешности, — о том, что слишком ред-

ко имеет он обстановку, при которой могло бы проявляться нормальное физиологическое его свойство — служить наслаждением для человека.

(Из работы «Варианты «Очерков из политической экономии (по Миллю)»).

<...> С одной стороны, труд будет становиться все производительнее и производительнее, с другой стороны, все меньшая и меньшая доля его будет тратиться на производство предметов бесполезных. Вследствие дружного действия обоих этих изменений люди придут когда-нибудь к уравновешению средств удовлетворения с своими потребностями. Тогда, конечно, возникнут для общественной жизни совершенно новые условия, и между прочим, прекратится нужда в существовании законов для экономической деятельности. Труд из тяжелой необходимости обратится в легкое и приятное удовлетворение физиологической потребности, как ныне возвышается до такой степени умственная работа в людях просвещенных: как вы, читатель, перелистываете теперь книгу не по какому-нибудь принуждению, а просто потому, что это для вас занимательно и что было бы для вас скучно не посвящать чтению каждый день известное время, так некогда наши потомки будут заниматься материальным трудом. Тогда, конечно, производство ценностей точно так же обойдется без всяких законов, как теперь обходится без них прогулка, еда, игра в карты и другие способы приятного препровождения времени. Каждая пробужденная потребность будет удовлетворяться досыта, и все-таки останется за потреблением излишек средств удовлетворения; тогда, конечно, никто не будет спорить и ссориться за эти средства, и распределение их вообще будет обходиться без всяких особенных законов, как ны-

не обходится без особенных законов пользование водами океана: плыви, кто хочет, — места всем достанет.

...Близко ли, или далеко это время,—вопрос другой; мы думаем, что оно еще очень далеко, хотя, быть может, и не на тысячу лет от нас, но, вероятно, больше нежели на сто или на полтораста.

(Из статьи «Экономическая деятельность и законодательство»).

<...> Земля, еще не заселенная людьми, может иметь цветущий вид, — она может быть покрыта девственными лесами, роскошными лугами и пажитями. Но как скоро человек овладевает страною, это первобытное состояние природы уничтожается его потребностями, — он сжигает и вырубает леса, и как скоро население становится многочисленным, самые поля лишаются той чистой растительности, которою очаровывали прежде, почва теряет влажность с истреблением лесов и обнажается или зарастает печальными и уродливыми травами, вроде полыни, репейника, бурьяна. Только неутомимое трудолюбие человека может сообщить природе новую, высшую красоту взамен дикой, первобытной красоты, неудержимо исчезающей под его ногами. Человек должен ухаживать за лесами, стеречь их, чтобы сохранить от истребления часть их, нужную для его материальных потребностей и эстетического наслаждения, должен заменить садами другую часть; он должен одеть землю нивами и искусственными лугами, взамен не выносящих его прикосновения первобытных трав. Где является человек, там природа должна воссоздаваться трудом человека. Народ вносит запустение и одичалость в свою страну, если не вносит в нее культуры. И если вы видите печальной, унылой страну, имеющую оседлое население, не вините в том природу страны, — нет, знайте, что народ, ее населяю-

щий, не хочет или не может трудиться. Природа, конечно, гораздо беднее залогами красоты в Голландии, Гольштинии, нежели в какой бы то ни было другой европейской стране, — и, однако же, Голландия и Гольштиния радуют глаз своими цветущими полями и веселыми рощами. Есть страны, в которых не может жить оседлое население, — за их красоту не отвечает человек. Но где есть возможность провести воду, — где живут земледельцы, там унылость страны свидетельствует только, что народ не может или не хочет жить в своей стране так, как должен жить счастливый народ, — не может или не хочет трудиться.

Мы сказали: «не может или не хочет» — второе из этих слов совершенно излишне. Не хочет трудиться только тот, кто не имеет возможности трудиться в благоприятных для труда условиях <...>.

Трудолюбивые привычки могут развиться или сохраниться в народе только при хорошем управлении, которое обеспечивает каждому неприкосновенность собственности, приобретаемой его трудом, и ограждает его труд от припятствий и обременений, каким он подвергается, как скоро является произвол с беспорядками и злоупотреблениями, необходимыми своими спутниками.

(Из рецензии на «Письма об Испании»
В. П. БОТКИНА).

<СОЦИАЛИЗМ — СЕМЬЯ — ЛЮБОВЬ—ЖЕНЩИНА>

<ЖЕНЩИНА И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ>

Женщина должна быть равна с мужчиною.

До сих пор этого не было. Женщина всегда была рабою.

Жена должна быть равна мужу.

До сих пор этого не было. Жена была просто служанкою мужа, только немного повыше других слуг.

Все отношения между мужчиною и женщиною, между мужем и женой были поэтому гнусны.

Обязанность каждого честного и порядочного человека всеми силами души ненавидеть эти гнусные отношения и, сколько зависит от него, содействовать истреблению их даже с опасностью впасть в другую крайность, даже с опасностью стать рабом для водворения равенства в будущем, нежели увековечивать рабство других из боязни стать рабом самому.

(Из письма О. С. ВАСИЛЬЕВОЙ (ЧЕРНЫШЕВСКОЙ) от 28 марта 1853 г.).

Каким верным, сильным, проницательным умом одарена женщина от природы! И этот ум остается без пользы для общества, оно отвергает его, оно подавляет его, оно задушает его, а история человечества пошла бы в десять раз быстрее, если бы этот ум не был отвергаем и убиваем, а действовал бы.

— Мы с тобою часто говорили, что организация женщины едва ли не выше, чем мужчины, что поэтому женщина едва ли не оттеснит мужчину на второй план в умственной жизни, когда пройдет господство грубого насилия, мы оба с тобою выводили эту вероятность из

наблюдения над жизнью; в жизни больше встречается женщин, чем мужчин, умных от природы; так нам обоим кажется. Ты подтверждал это разными подробностями из анатомии, физиологии.

— Какие оскорбительные вещи для мужчин ты говоришь, и ведь это больше ты говоришь, Верочка, чем я: мне это обидно. Хорошо, что время, которое мы с тобою предсказываем, еще так далеко. А то бы я совершенно отказался от своего мнения, чтобы не отходить на второй план. Впрочем, Верочка, ведь это только вероятность, наука еще не собрала столько сведений, чтобы решить вопрос положительным образом.

— Конечно, мой милый. Мы говорили, отчего до сих пор факты истории так противоречат выводу, который слишком вероятен по наблюдениям над частною жизнью и над устройством организма. Женщина играла до сих пор такую ничтожную роль в умственной жизни потому, что господство насилия отнимало у ней и средства к развитию, и мотивы стремиться к развитию.

Люди были, как животные. Они перестали быть животными, когда мужчина стал ценить в женщине красоту. Но женщина слабее мужчины силою; а мужчина был груб. Все тогда решалось силою. Мужчина присвоил себе женщину, красоту которой стал ценить. Она стала собственностью его, вещью его. Это царство Астарты.

Когда он стал более развит, он стал больше прежнего ценить ее красоту, преклонился перед ее красотою. Но ее сознание было еще не развито. Он ценил только в ней красоту. Она умела думать еще только то, что слышала от него. Он говорил, что только он человек, она не человек, и она еще видела в себе только прекрасную драгоценность, принадлежащую ему, — человеком она не считала себя. Это царство Афродиты.

Но вот начало в ней пробуждаться сознание, что и она человек. Какая скорбь должна была обнять ее и при самом слабом появлении в ней мысли о своем человеческом достоинстве! Ведь она еще не была признаваема за человека. Мужчина еще не хотел иметь ее иною подругою себе, как своею рабынею. И она говорила: я не хочу быть твоею подругою! Тогда страсть к ней заставляла его умолять и смиряться, и он забывал, что не считает ее человеком, и он любил ее, недоступную, неприкосновенную, непорочную деву. Но лишь только верила она его мольбе, лишь только он касался ее — горе ей! Она была в руках его, эти руки были сильнее ее рук, а он был груб, и он обращал ее в свою рабыню и презирал ее. Горе ей! Это скорбное царство девы.

Но шли века; моя сестра, — ты знаешь ее? — та, которая раньше меня стала являться тебе, делала свое дело. Она была всегда, она была прежде всех, она уж была, как были люди, и всегда работала неутомимо. Тяжел был ее труд, медлен успех, но она работала, работала, и рос успех. Мужчина становился разумнее, женщина тверже и тверже сознавала себя равным ему человеком, — и пришло время, родилась я.

Во мне наслаждение чувства, которое было в Астарте: она родоначальница всех нас, других цариц, сменявших ее. Во мне упоение созерцанием красоты, которое было в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою, которое было в «Непорочности».

Но во мне все это не так, как было в них, а полнее, выше, сильнее. То, что было в «Непорочности», соединяется во мне с тем, что было в Астарте, и с тем, что было в Афродите. И, соединяясь во мне с другими силами, каждая из этих сил становится могущественнее и лучше от союза. Но больше, еще гораздо больше мо-

гущества и прелести дается каждой из этих сил во мне тем новым, что есть во мне, чего не было ни в одной из прежних цариц. Это новое во мне то, чем я отличаюсь от них, — равноправность любящих, равное отношение между ними, как людьми, и от этого одного нового все во мне много, о, много прекраснее, чем было в них.

Когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на нее, как на свою принадлежность. Тогда она любит его, как он любит ее, только потому, что хочет любить, если же она не хочет, он не имеет никаких прав над нею, как и она над ним. Поэтому во мне свобода.

От равноправности и свободы и то мое, что было в прежних царицах, получает новый характер, высшую прелесть, прелесть, какой не знали до меня, перед которой ничто всё, что знали до меня.

До меня не знали полного наслаждения чувства, потому что без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения. До меня не знали полного наслаждения созерцанием красоты, потому что, если красота открывается не по свободному влечению, нет светлого упоения ее созерцанием. Без свободного влечения и наслаждение, и восхищение мрачны перед тем, каковы они во мне.

Моя непорочность чище той «Непорочности», которая говорила только о чистоте тела: во мне чистота сердца. Я свободна, потому во мне нет обмана, нет притворства: я не скажу слова, которого не чувствую, я не дам поцелуя, в котором нет симпатии.

Но то, что во мне новое, что дает высшую прелесть тому, что было в прежних царицах, оно само по себе составляет во мне прелесть, которая выше всего. Господин стеснен при слуге, слуга стеснен перед господином; только с равным себе вполне свободен человек.

С низшим скучно, только с равным полное веселье. Вот почему до меня и мужчина не знал полного счастья любви; того, что он чувствовал до меня, не стоило называть счастьем, это было только минутное опьянение. А женщина, как жалка была до меня женщина! Она была тогда подвластным, рабствующим лицом; она была в боязни, она до меня слишком мало знала, что такое любовь: где боязнь, там нет любви.

Поэтому, если ты хочешь одним словом выразить, что такое я, это слово — равноправность. Без него наслаждение телом, восхищение красотою скучны, мрачны, гадки; без него нет чистоты сердца, есть только обман чистотою тела. Из него, из равенства, и свобода во мне, без которой нет меня.

(Из романа «Что делать?»).

<ЛЮБОВЬ РЕАЛЬНАЯ И ФАНТАСТИЧЕСКАЯ>

[Человек может мечтать об идеальных красавицах; но может мечтать только при двух условиях: когда у него еще нет или уже нет серьезной, действительной потребности любить, а есть только фантастическое направление мыслей к тому, что «любовь высшее благо жизни», к тому, что «он необыкновенный человек, выше всех этих жалких людей», из которых на деле многие умнее и благороднее его, что поэтому «он должен любить не так, как они», что поэтому он может полюбить только такую же необыкновенную красавицу, какой он сам необыкновенный человек. Вот первое условие; но его мало: нужно еще второе — надобно, чтобы человек не имел случая видеть красавиц, не имел даже случая видеть и просто хорошеньких женщин; иначе он тотчас же, при своей внутренней пустоте, влюбится по уши, и будет толковать и другим и себе о том, как необыкновенно счастлив он,

встретив «неземное» существо. Но все это фантастическое мечтание о «неземной красоте», вся эта фантастическая невлюбленность и влюбленность бледна, смешна, жалка перед действительною любовью. Действительно любящий человек, — а таких людей гораздо больше, нежели фантастически влюбленных или желающих влюбиться — не думает о том, есть или нет на свете красавицы лучше той женщины, которую он любит: ему дела нет до других; он очень хорошо знает, что любимая им женщина имеет свои недостатки — что ему за дело до этого? ведь он все-таки ее любит, ведь она все-таки хороша и мила. И если вы станете «анализом показывать, что она не абсолютное совершенство», он скажет вам: «Я лучше и больше вас это знаю; но если я вижу в ней очень много недостатков, то гораздо более вижу я в ней достойного любви. Наконец я люблю ее так, как она есть:

Можно краше быть Мери,
Милой Мери моей,
Но нельзя быть милей».

Для избежания недоразумений можно прибавить, что настоящею любовью надобно считать тот род любви, который в нашем обществе обыкновенно развивается в кругу семейной жизни; изредка он бывает и в кругу старого знакомства, тесных дружеских связей. «Восторженные» люди подсмеиваются над этою «мещанскою» любовью, — что же делать, если неблестящее чувство родительской, супружеской или даже просто дружеской любви на самом деле гораздо сильнее и — если сказать по правде, гораздо страстнее «безумной» любви, о которой столько пишется в «созданиях поэзии», столько толкуется в кружках молодых людей? Я нисколько не хочу нападать на тот род любви, который преимущественно пользуется титулом любви; я хочу только сказать, что, во-первых, истинная любовь подобного рода чужда всяким мыслям о «неземном» «совершенстве»,

во-вторых, что есть другие роды любви, гораздо сильнее и гораздо прозаичнее этого рода любви, если прозаичным называть все свободное от фантастических иллюзий].

(Из рукописи диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности»).

— Саша, как много поддерживает меня твоя любовь. Через нее я делаюсь самостоятельна, я выхожу из всякой зависимости и от тебя, — даже от тебя. А для тебя что принесла моя любовь?

— Для меня? Не менее, чем для тебя. Это постоянное, сильное, здоровое возбуждение нерв, оно необходимо развивает нервную систему (грубый материализм, замечаем опять мы с проницательным читателем); поэтому умственные и нравственные силы растут во мне от моей любви.

— Да, Саша, я слышу от всех, — сама я плохая свидетельница в этом, мои глаза подкуплены, но все видят то же: твои глаза яснеют, твой взгляд становится сильнее и зорче.

— Верочка, что хвалиться или не хвалиться мне перед тобою? Мы один человек; но это должно в самом деле отражаться и в глазах. Моя мысль стала много сильнее. Когда я делаю вывод из наблюдений, общий обзор фактов, я теперь в час кончаю то, над чем прежде должен был думать несколько часов. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактов, чем прежде, выводы у меня выходят и шире, и полнее. Если бы, Верочка, во мне был какой-нибудь зародыш гениальности, я с этим чувством стал бы великим гением. Если бы от природы была во мне сила создать что-нибудь маленькое новое в науке, я от этого чувства приобрел бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочим, темным мелким тружеником, который разрабатывает мелкие частные вопросы. Таким я и был без тебя. Теперь, ты знаешь, я уж не то: от меня начи-

нают ждать больше, думают, что я переработаю целую большую отрасль науки, все учение об отправлениях нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожидание. В двадцать четыре года у человека шире и смелее новизна взглядов, чем в двадцать девять лет (потом говорится: в тридцать лет, в тридцать два года и так дальше), но тогда у меня не было этого в таком размере, как теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда без тебя я давно бы уже перестал расти. Да я уж и не рос последние два-три года перед тем, как мы стали жить вместе. Ты возвратила мне свежесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чем я остановился бы, на чем я уж и остановился было без тебя.

— А энергия работы, Верочка, разве мало значит? Страстное возбуждение сил вносится и в труд, когда вся жизнь так настроена. Ты знаешь, как действует на энергию умственного труда кофе, стакан вина, то, что дают они другим на час, за которым следует расслабление, соразмерное этому внешнему и мимолетному возбуждению, то имею я теперь постоянно в себе, — мои нервы сами так настроены постоянно, сильно, живо. (Опять грубый материализм, замечаем, и проч.)

Эти разговоры чаще и длиннее.

«Кто не испытывал, как возбуждает любовь все силы человека, тот не знает настоящей любви».

«Любовь в том, чтобы помогать возвышению и возвышаться».

«У кого без нее не было бы средств к деятельности, тому она дает их. У кого они есть, тому она дает силы пользоваться ими».

«Только тот любит, кто помогает любимой женщине возвышаться до независимости».

«Только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви».

(Из романа «Что делать?»).

<ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ>

<...> Есть одна вещь, о которой, к несчастию, слишком многим надобно толковать слишком подробно, чтобы они поняли ее. Каждый, если не сам испытал, то хоть начитался, какая разница для девушки или юноши между тем вечером, который просто вечер, и тем вечером, на котором с нею ее милый или с ним его милая, между оперою, которую слушаешь, и только, и тою оперою, которую слушаешь, сидя рядом с тем или с тою, в кого влюблен. Очень большая разница. Это известно. Но вот что слишком немногими испытано, что очаровательность, которую всему дает любовь, вовсе не должна, по-настоящему, быть мимолетным явлением в жизни человека, что этот яркий свет жизни не должен озарять только эпоху искания, стремления, назовем хотя так: ухаживания или сватания, нет, что эта эпоха по-настоящему должна быть только зарею, милою, прекрасною, но предшественницею дня, в котором несравненно больше и света и теплоты, чем в его предшественнице, свет и теплота которого долго, очень долго растут, всё растут, и особенно теплота очень долго растет, далеко за полдень все еще растет. Прежде было не так: когда соединялись любящие, быстро исчезала поэзия любви. Теперь у тех людей, которые называются нынешними людьми, вовсе не так. Они, когда соединяет их любовь, чем дольше живут вместе, тем больше и больше озаряются и согреваются ее поэзиею, до той самой поры, позднего вечера, когда заботы о вырастающих детях будут уже слишком сильно поглощать их мысли. Тогда забота более сладкая, чем личное наслаждение, становится выше его, но до той поры оно все растет. То, что прежние люди знали только на мимолетные месяцы, нынешние люди сохраняют в себе на долгие, долгие годы.

Отчего это так? А это уж секрет; я вам, пожалуй, выдам его. Хороший секрет, славно им пользоваться,

и не мудрено, только надобно иметь для этого чистое сердце и честную душу да нынешнее понятие о правах человека, уважение к свободе того, с кем живешь. Только, — больше и секрета нет никакого. Смотри на жену, как смотрел на невесту, знай, что она каждую минуту имеет право сказать: «Я недовольна тобою, прочь от меня»; смотри на нее так, и она через девять лет после твоей свадьбы будет внушать тебе такое же поэтическое чувство, как невеста, нет, более поэтическое, более идеальное в хорошем смысле слова. Признавай ее свободу так же открыто и формально, и без всяких оговорок, как признаешь свободу твоих друзей чувствовать или не чувствовать дружбу к тебе, и тогда, через десять лет, через двадцать лет после свадьбы, ты будешь ей так же мил, как был женихом. Так живут мужья и жены из нынешних людей. Очень завидно. Но зато же ведь они и честны друг перед другом, они любят друг друга через десять лет после свадьбы сильнее и поэтичнее, чем в день свадьбы, но зато же ведь в эти десять лет ни он, ни она не дали друг другу притворного поцелуя, не сказали ни одного притворного слова. «Ложь не выходила из уст его», — сказано про кого-то в какой-то книге. «Нет притворства в сердце его», — сказано про кого-то в какой-то, может быть, в той же книге. Читают книгу и думают: «Какая изумительная нравственная высота приписывается ему!» Писали книгу и думали: «Это мы описываем такого человека, которому все должны удивляться». Не предвидели, кто писал книгу, не понимают, кто читает ее, что нынешние люди не принимают в число своих знакомых никого, не имеющего такой души, и не имеют недостатка в знакомых и не считают своих знакомых ничем больше, как просто-напросто нынешними людьми, хорошими, но очень обыкновенными людьми.

(Из романа «Что делать?»).

<КАРТИНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БУДУЩЕГО В РОМАНЕ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»>

Мастерская Веры Павловны устроилась. Основания были просты, вначале даже так просты, что нечего о них и говорить. Вера Павловна не сказала своим трем первым швеям ровно ничего, кроме того, что даст им плату несколько, немного побольше той, какую швеи получают в магазинах; дело не представляло ничего особенного; швеи видели, что Вера Павловна женщина не пустая, не легкомысленная, потому без всяких недоумений приняли ее предложение работать у ней: не над чем было недоумевать, что небогатая дама хочет завести швейную. Эти три девушки нашли еще трех или четырех, выбрали их с тою осмотрительностью, о которой просила Вера Павловна; в этих условиях выбора тоже не было ничего возбуждающего подозрение, то есть ничего особенного: молодая и скромная женщина желает, чтобы работницы в мастерской были девушки прямодушного, доброго характера, рассудительные, уживчивые, что же тут особенного? Не хочет ссор, и только; поэтому умно, и больше ничего. Вера Павловна сама познакомилась с этими выбранными, хорошо познакомилась, прежде чем сказала, что принимает их, это натурально; это тоже рекомендует ее как женщину основательную, и только. Думать тут не над чем, не доверять нечему.

Таким образом, проработали месяц, получая в свое время условленную плату. Вера Павловна постоянно была в мастерской, и уже они успели узнать ее очень близко как женщину расчетливую, осмотрительную, рассудительную, при всей ее доброте, так что она заслужила полное доверие. Особенного тут ничего не было и не предвиделось, а только то, что хозяйка — хорошая хозяйка, у которой дело пойдет: умеет вести.

Но когда кончился месяц, Вера Павловна пришла в мастерскую с какою-то счетною книгою, попросила своих швей прекратить работу и послушать, что она будет говорить.

Стала говорить она самым простым языком вещи понятные, очень понятные, но каких от нее, да и ни от кого прежде, не слышали ее швеи:

— Вот мы теперь хорошо знаем друг друга, — начала она, — я могу про вас сказать, что вы и хорошие работницы, и хорошие девушки. А вы про меня не скажете, чтобы я была какая-нибудь дура. Значит, можно мне теперь поговорить с вами откровенно, какие у меня мысли. Если вам представится что-нибудь странно в них, так вы теперь уже подумайте об этом хорошенько, а не скажете с первого же раза, что у меня мысли пустые, потому что знаете меня как женщину не какую-нибудь пустую. Вот какие мои мысли.

Добрые люди говорят, что можно завести такие швейные мастерские, чтобы швеям было работать в них много выгоднее, чем в тех мастерских, которые мы все знаем. Мне и захотелось попробовать. Судя по первому месяцу, кажется, что точно можно. Вы получали плату исправно, а вот я вам скажу, сколько, кроме этой платы и всех других расходов, осталось у меня денег в прибыли. — Вера Павловна прочла счет прихода и расхода за месяц. В расход были поставлены, кроме выданной платы, все другие издержки: на наем комнаты, на освещение, даже издержки Веры Павловны на извозчика по делам мастерской, около рубля.

— Вы видите, — продолжала она, — у меня в руках остается столько-то денег. Теперь: что делать с ними! Я завела мастерскую затем, чтобы эти прибыльные деньги шли в руки тем самым швеям, за работу которых получены. Потому и раздаю их вам; на первый раз, всем поровну, каждой особо. После посмотрим, так ли лучше распоряжаться ими, или можно еще как-нибудь

другим манером, еще выгоднее для вас. — Она раздала деньги.

Швеи несколько времени не могли опомниться от удивления, потом начали благодарить. Вера Павловна дала им довольно поговорить о их благодарности за полученные деньги, чтобы не обидеть отказом слушать, похожим на равнодушие к их мнению и расположению; потом продолжала:

— Теперь надобно мне рассказать вам самую трудную вещь изо всего, о чем придется нам когда-нибудь говорить, и не знаю, сумею ли рассказать ее хорошенько. А все-таки поговорить надобно. Зачем я эти деньги не оставила у себя, и какая охота была мне заводить мастерскую, если не брать от нее дохода? Мы с мужем живем, как вы знаете, без нужды: люди не богатые, но всего у нас довольно. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, да и говорить бы не надобно, он бы сам заметил, что мне нужно больше денег, и было бы у меня больше денег. Он теперь занимается не такими делами, которые выгоднее, а такими, которые ему больше нравятся. Но ведь мы с ним друг друга очень любим, и ему всего приятнее делать то, что для меня приятно, все равно, как и мне для него. Поэтому, если бы мне недоставало денег, он занялся бы такими делами, которые выгоднее нынешних его занятий, а он сумел бы найти, потому что он человек умный и оборотливый, — ведь вы его несколько знаете. А если он этого не делает, значит, мне довольно и тех денег, которые у нас с ним есть. Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам; ведь вы знаете, что у разных людей разные пристрастия, не у всех же только к деньгам: у иных пристрастие к балам, у других — к нарядам или картам, и все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия, и многие разоряются, и никто этому не дивится, что их пристрастие им дороже денег. А у меня пристрастие вот к тому, чем заняться

я с вами пробую, и я на свое пристрастие не то что не разоряюсь, а даже и вовсе не трачу никаких денег, только что рада им заниматься и без дохода от него себе. Что ж, по-моему, тут нет ничего странного: кто же от своего пристрастия ищет дохода? Всякий еще деньги на него тратит. А я и того не делаю, не трачу. Значит, мне еще большая выгода перед другими, если я своим пристрастием занимаюсь и нахожу себе удовольствие без убытка себе, когда другим их удовольствие стоит денег. Почему ж у меня это пристрастие? — Вот почему. Добрые и умные люди написали много книг о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо; и тут самое главное, — говорят они, — в том, чтобы мастерские завести по новому порядку. Вот мне и хочется посмотреть, сумеем ли мы с вами завести такой порядок, какой нужен. Это все равно, как иному хочется выстроить хороший дом, другому — развести хороший сад или оранжерею, чтобы на них любоваться; так вот мне хочется завести хорошую швейную мастерскую, чтобы весело было любоваться на нее.

Конечно, уж и то было бы порядочно, если бы я стала только каждый месяц раздавать вам прибыль, как теперь. Но умные люди говорят, что можно сделать еще гораздо лучше, так что и прибыли будет больше, и можно выгоднее делать употребление из нее. Говорят, будто можно устроить очень хорошо. Вот мы посмотрим. Я буду вам понемногу рассказывать, что еще можно сделать, по словам умных людей, да вы и сами будете присматриваться, так будете замечать, и как вам покажется, что можно сделать что-нибудь хорошее, мы и будем пробовать это делать, — понемножечку, как можно будет. Но только надобно вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводить. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. Стало быть, вам не для чего бояться

нового, все будет по-старому, кроме того, что сами вы захотите переменить. Без вашего желания ничего не будет.

А вот теперь мое последнее хозяйское распоряжение без вашего совета. Вы видите, надобно вести счеты и смотреть за тем, чтобы не было лишних расходов. В прошлый месяц я одна это делала; а теперь одна делать не хочу. Выберите двух из себя, чтоб они занимались этим вместе со мною. Я без них ничего не буду делать. Ведь ваши деньги, а не мои, стало быть, вам надобно и смотреть за ними. Теперь это дело еще новое; неизвестно, кто из вас больше способен к нему, так для пробы надобно сначала выбрать на короткое время, а через неделю увидите, других ли выбрать или оставить прежних в должности.

Долгие разговоры были возбуждены этими необыкновенными словами. Но доверие было уже приобретено Верою Павловною; да и говорила она просто, не заходя далеко вперед, не рисуя никаких особенно заманчивых перспектив, которые после минутного восторга рождают недоверие. Потому девушки не сочли ее помешанною, а только и было нужно, чтобы не сочли помешанною. Дело пошло понемногу.

Конечно, понемногу. Вот короткая история мастерской за целые три года, в которые эта мастерская составляла главную сторону истории самой Веры Павловны.

Девушки, из которых образовалась основа мастерской, были выбраны осмотрительно, были хорошие швеи, были прямо заинтересованы в успехе работы; потому, натуральным образом, работа шла очень успешно. Мастерская не теряла ни одной из тех дам, которые раз пробовали сделать ей заказ. Явилась некоторая зависть со стороны нескольких магазинов и швейных, но это не произвело никакого влияния, кроме того, что, для устра-

нения всяких придирок Вере Павловне очень скоро понадобилось получить право иметь на мастерской вывеску. Скоро заказов стало получаться больше, нежели могли исполнять девушки, с самого начала вошедшие в мастерскую, и состав ее постепенно увеличивался. Через полтора года в ней было до двадцати девушек, потом и больше.

Одно из первых последствий того, что окончательный голос по всему управлению дан был самим швеям, состояло в решении, которого и следовало ожидать: в первый же месяц управления девушки определили, что не годится самой Вере Павловне работать без вознаграждения. Когда они объявили ей об этом, она сказала, что и действительно так следует. Хотели дать ей третью часть прибыли. Она откладывала ее несколько времени в сторону, пока растолковала девушкам, что это противно основной мысли их порядка. Они довольно долго не могли понять этого; но потом согласились, что Вера Павловна отказывается от особенной доли прибыли не из самолюбия, а потому, что так нужно по сущности дела. К этому времени мастерская приняла уже такой размер, что Вера Павловна не успевала одна быть закройщицею, надобно было иметь еще другую; Вере Павловне положили такое жалованье, как другой закройщице. Деньги, которые прежде откладывала она из прибыли, теперь были приняты назад в кассу, по ее просьбе, кроме того, что следовало ей, как закройщице; остальные пошли на устройство банка. Около года Вера Павловна большую часть дня проводила в мастерской и работала действительно не меньше всякой другой по количеству времени. Когда она увидела возможность быть в мастерской уже не целый день, плата ей была уменьшаема, как уменьшалось время ее занятий.

Как делить прибыль? Вере Павловне хотелось довести до того, чтобы прибыль делилась поровну между все-

ми. До этого дошли только в половине третьего года, а прежде того перешли через несколько разных ступеней, начиная с раздела прибыли пропорционально заработной плате. Прежде всего увидели, что если девушка пропускала без работы несколько дней по болезни или другим уважительным причинам, то нехорошо за это уменьшать ее долю из прибыли, которая ведь приобретена не собственно этими днями, а всем ходом работ и общим состоянием мастерской. Потом согласились, что закройщицы и другие девушки, получающие особую плату по развозу заказов и другим должностям, уже довольно вознаграждаются своим особенным жалованьем, и что несправедливо им брать больше других еще и из прибыли. Простые швеи, не занимавшие должностей, были так деликатны, что не требовали этой перемены, когда заметили несправедливость прежнего порядка, ими же заведенного: сами должностные лица почувствовали неловкость пользоваться лишним и отказались от него, когда достаточно поняли дух нового порядка. Надобно, впрочем, сказать, что эта временная деликатность — терпения одних и отказа других — не представляла особенного подвига, при постоянном улучшении дел тех и других. Труднее всего было развить понятие о том, что простые швеи должны все получать одинаковую долю из прибыли, хотя одни успевают зарабатывать больше жалованья, чем другие, что швеи, работающие успешнее других, уже достаточно вознаграждаются за успешность своей работы тем, что успевают зарабатывать больше платы. Это и была последняя перемена в распределении прибыли, сделанная уже в половине третьего года, когда мастерская поняла, что получение прибыли — не вознаграждение за искусство той или другой личности, а результат общего характера мастерской, — результат ее устройства, ее цели, а цель эта — всевозможная одинаковость пользы от работы для всех, участвующих в работе, каковы бы ни были личные особен-

ности; что от этого характера мастерской зависит все участие работающих в прибыли; а характер мастерской, ее дух, порядок составляется единодушием всех, а для единодушия одинаково важна всякая участница: молчаливое согласие самой застенчивой или наименее даровитой не менее полезно для сохранения и развития порядка, полезного для всех, для успеха всего дела, чем деятельная хлопотливость самой бойкой или даровитой.

Я пропускаю множество подробностей, потому что не описываю мастерскую, а только говорю о ней лишь в той степени, в какой это нужно для обрисовки деятельности Веры Павловны. Если я упоминаю о некоторых частностях, то единственно затем, чтобы видно было, как поступала Вера Павловна, как она вела дело шаг за шагом, и терпеливо, и неутомимо, и как твердо выдерживала свое правило: не распоряжаться ничем, а только советовать, объяснять, предлагать свое содействие, помогать исполнению решенного ее компаниею.

Прибыль делилась каждый месяц. Сначала каждая девушка брала всю ее и расходовала отдельно от других: у каждой были безотлагательные надобности, и не было привычки действовать дружно. Когда от постоянного участия в делах они приобрели навык соображать весь ход работ в мастерской, Вера Павловна обратила их внимание на то, что в их мастерстве количество заказов распределяется по месяцам года очень неодинаково и что в месяцы особенно выгодные недурно было бы отлагать часть прибыли для уравнения невыгодных месяцев. Счеты велись очень точные, девушки знали, что если кто из них покинет мастерскую, то без задержки получит свою долю, остающуюся в кассе. Потому они согласились на предложение. Образовался небольшой запасный капитал, он постепенно рос; начали приискивать разные употребления ему. С первого же раза

все поняли, что из него можно делать ссуды тем участницам, которым встречается экстренная надобность в деньгах, и никто не захотел присчитывать проценты на занятые деньги: бедные люди имеют понятие, что хорошее денежное пособие бывает без процентов. За учреждением этого банка последовало основание комиссионерства для закупок: девушки нашли выгодным покупать чай, кофе, сахар, обувь, многие другие вещи через посредство мастерской, которая брала товары не по мелочи, стало быть, дешевле. От этого через несколько времени пошли дальше: сообразили, что выгодно будет таким порядком устроить покупку хлеба и других припасов, которые берутся каждый день в булочных и мелочных лавочках; но тут же увидели, что для этого надобно всем жить по соседству: стали собираться по нескольку на одну квартиру, выбирать квартиры подле мастерской. Тогда явилось у мастерской свое агентство по делам с булочною и мелочною лавочкою. А года через полтора почти все девушки уже жили на одной большой квартире, имели общий стол, запасались провизиею тем порядком, как делается в больших хозяйствах.

Половина девушек были существа одинокие. У некоторых были старухи родственницы, матери или тетки; две содержали стариков отцов; у многих были маленькие братья или сестры. По этим родственным отношениям три девушки не могли поселиться на общей квартире: у одной мать была неуживчивого характера; у другой мать была чиновница и не хотела жить вместе с мужичками, у третьей отец был пьяница. Они пользовались только услугами агентства; точно так же и те швеи, которые были не девушки, а замужние женщины. Но, кроме трех, все остальные девушки, имевшие родственников на своих руках, жили на общей квартире. Сами они жили в одних комнатах, по две, по три в одной; их родственники или родственницы распо-

ложились по своим удобствам: у двух старух были особые комнаты у каждой, остальные старухи жили вместе. Для маленьких мальчиков была своя комната, две другие для девочек. Положено было, что мальчики могут оставаться тут до 8 лет; тех, кому было больше, размещали по мастерствам.

Всему велся очень точный счет, чтобы вся компания жила твердою мыслью, что никто ни у кого не в обиде, никто никому не в убыток. Расчеты одиноких девушек по квартире и столу были просты. После нескольких колебаний определили считать за брата или сестру до 8 лет четвертую часть расходов взрослой девицы, потом содержание девочки до 12 лет считалось за третью долю, с 12 — за половину содержания сестры ее, с 13 лет девочки поступали в ученицы в мастерскую, если не пристраивались иначе, и положено было, что с 16 лет они становятся полными участницами компании, если будут празнаны выучившимися хорошо шить. За содержание взрослых родных считалось, разумеется, столько же, как за содержание швей. За отдельные комнаты была особая плата. Почти все старухи и все три старика, жившие в мастерской-квартире, занимались делами по кухне и другим хозяйственным вещам; за это, конечно, считалась им плата.

Все это очень скоро рассказывается на словах, да и на деле показалось очень легко, просто, натурально, когда устроилось. Но устраивалось медленно, и каждая новая мера стоила очень многих рассуждений, каждый переход был следствием целого ряда хлопот. Было бы слишком длинно и сухо говорить о других сторонах порядка мастерской так же подробно, как о разделе и употреблении прибыли; о многом придется вовсе не говорить, чтобы не наскучить, о другом лишь слегка упомянуть; например, что мастерская завела свое агентство продажи готовых вещей, работанных во время, не занятое заказами, — отдельного магазина она еще не могла

иметь, но вошла в сделку с одною из лавок Гостиного двора, завела маленькую лавочку в Толкучем рынке, — две из старух были приказчицами в лавочке. Но надобно несколько подробнее сказать об одной стороне жизни мастерской.

Вера Павловна с первых же дней стала приносить книги. Сделав свои распоряжения, она принималась читать вслух, читала полчаса, час, если раньше не перерывала ее надобность опять заняться распоряжениями. Потом девушки отдыхали от слушания; потом опять чтение, и опять отдых. Нечего и говорить, что девушки с первых же дней пристрастились к чтению, некоторые были охотницы до него и прежде. Через две-три недели чтение во время работы приняло регулярный вид. Через три-четыре месяца явилось несколько мастериц читать вслух; было положено, что они будут сменять Веру Павловну, читать по получасу, и что этот получас зачитывается им за работу. Когда с Веры Павловны была снята обязанность читать вслух, Вера Павловна, уже и прежде заменявшая иногда чтение рассказами, стала рассказывать чаще и больше; потом рассказы обратились во что-то похожее на легкие курсы разных знаний. Потом, — это было очень большим шагом, — Вера Павловна увидела возможность завесть и правильное преподавание: девушки стали так любознательны, а работа их шла так успешно, что они решили делать среди рабочего дня, перед обедом, большой перерыв для слушания уроков.

— Алексей Петрович, — сказала Вера Павловна, бывши однажды у Мерцаловых, — у меня есть к вам просьба. Наташа уж на моей стороне. Моя мастерская становится лицеем всевозможных знаний. Будьте одним из профессоров.

— Что ж я стану им преподавать? Разве латинский и греческий, или логику и риторику? — сказал, смеясь, Алексей Петрович. — Ведь моя специальность не очень

интересна, по вашему мнению и еще по мнению одного человека, про которого я знаю, кто он.

— Нет, вы необходимы именно, как специалист: вы будете служить щитом благонравия и отличного направления наших наук.

— А ведь это правда. Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру.

— Например, русская история, очерки из всеобщей истории.

— Превосходно. Но это я буду читать, а будет предполагаться, что я специалист. Отлично. Две должности: профессор и щит.

Наталья Андреевна, Лопухов, два-три студента, сама Вера Павловна были другими профессорами, как они в шутку называли себя.

Вместе с преподаванием устраивались и развлечения. Бывали вечера, бывали загородные прогулки: сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще; брали ложи в театре. На третью зиму было абонировано десять мест в боковых местах итальянской оперы.

<. . . . .>

ЧЕТВЕРТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

И снится Вере Павловне сон <...>:

Является сестра своих сестер, невеста своих женихов.

— Здравствуй, сестра, — говорит она царице, — здесь и ты, сестра? — говорит она Вере Павловне. — Ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри.

Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах, — или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля — это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, — как же они растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них, это они открыты на лето; да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи — это наши рощи: дуб и липа, клен и вяз, — да, рощи те же, как теперь; за ними очень заботливый уход, нет в них ни одного больного дерева, но рощи те же, — только они и остались те же, как теперь. Но это здание, — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания; это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же, — мебель из дерева тут лишь каприз, она только для разнообразия, но из чего ж вся остальная мебель, потолки и полы? «Попробуй подвинуть это кресло», — говорит старшая царица. Эта

металлическая мебель легче нашей ореховой. Но что ж это за металл? Ах, знаю теперь, Саша показывал мне такую дощечку, она была легка, как стекло, и теперь уж есть такие серьги, брошки, да, Саша говорил, что, рано или поздно, алюминий заменит собою дерево, может быть, и камень. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. И какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта, тут и видно, что он из алюминия. «Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок, — тут играют дети, а вместе с ними и большие; вот и в том зале пол тоже без ковров, — для танцев». И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад.

Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? «Здесь живет много, очень много; иди, мы увидим их». Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи. Как же Вера Павловна не заметила прежде? «По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. Но больше молодых; стариков мало, старух еще меньше, детей больше, чем стариков, но все-таки не очень много. Больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством: они делают почти все по хозяйству, они очень любят это; с ними несколько старух. А стариков и старух очень мало потому, что здесь очень поздно становятся ими, здесь здоровая и спокойная жизнь; она сохраняет свежесть». Группы, работающие на нивах, почти все поют; но какой работою они заняты? Ах, это они убирают хлеб. Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себе; день зноен, но им, конечно, ничего: над тою частью нивы, где они работают, раскинут огромный по-

лог; как подвигается работа, подвигается и он, — как они устроили себе прохладу! Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь! Этак и я стала бы жать! И всё песни, всё песни, — незнакомые, новые; а вот припомнили и нашу; знаю ее:

Будем жить с тобой по-пански;
Эти люди — нам друзья,
Что душе твоей угодно,
Все добуду с ними я...

Но вот работа кончена, все идут к зданию. «Войдем опять в зал, посмотрим, как они будут обедать», — говорит старшая сестра. Они входят в самый большой из огромных зал. Половина его занята столами, — столы уж накрыты, — сколько их! Сколько же тут будет обедающих? Да человек тысяча или больше: «Здесь не все; кому угодно, обедают особо, у себя»; те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это: «готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах, — это слишком легкая работа для других рук, — говорит старшая сестра, — ею следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого». Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь; по средней полосе широких столов расставлены вазы с цветами, блюда уж на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. «А кто ж будет прислуживать?» — «Когда? во время стола? зачем? Ведь всего пять-шесть блюд: те, которые должны быть горячие, поставлены на таких местах, что не остынут; видишь, в углублениях, — это ящики с кипятком, — говорит старшая сестра. — Ты хорошо живешь, ты любишь хороший стол, часто у тебя бывает такой обед?» — «Несколько раз в год». — «У них это обыкновенный: кому угодно, тот имеет лучше, какой угодно, но тогда особый расчет; а кто не требует себе особенного против того, что делается для

всех, с тем нет никакого расчета. И все так: то, что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть — расчет».

«Неужели ж это мы? неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски». — «Да, ты видишь невдалеке реку, — это Ока; эти люди мы, ведь с тобою я, русская!» — «И ты все это сделала?» — «Это все сделано для меня, и я одушевляла делать это, я одушевляю совершенствовать это, но делает это вот она, моя старшая сестра, она работница, а я только наслаждаюсь». — «И все так будут жить?» — «Все, — говорит старшая сестра, — для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но мы показали тебе только конец моей половины дня, работы, и начало ее половины; — мы еще посмотрим на них вечером, через два месяца».

Цветы завяли; листья начинают падать с деревьев; картина становится уныла. «Видишь, на это скучно было бы смотреть, тут было бы скучно жить, — говорит младшая сестра, — я так не хочу». — «Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого, — говорит старшая сестра, — я это устроила по воле своей сестры царицы». — «Неужели дворец в самом деле опустел?» — «Да, ведь здесь холодно и сыро, зачем же быть здесь? Здесь из 2000 человек осталось теперь десять — двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь, в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени, зимою, здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок, провести здесь несколько дней по-зимнему».

«Но где ж они теперь?» — «Да везде, где тепло и

хорошо, — говорит старшая сестра: — на лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга; мы были в доме, где вся компания из одних вас; но множество домов построено для гостей, в других и разноплеменные гости, и хозяева поселяются вместе, кому как нравится, такую компанию и выбирает. Но, принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на семь-восемь плохих месяцев вашего года уезжаете на юг, — кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая сторона, куда уезжает главная масса ваша. Эта сторона так и называется Новая Россия». — «Это где Одесса и Херсон?» — «Это в твое время, а теперь, смотри, вот где Новая Россия».

Горы, одетые садами; между гор узкие долины, широкие равнины. «Эти горы были прежде голые скалы, — говорит старшая сестра. — Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев: внизу во влажных ложбинах плантации кофейного дерева; выше финиковые пальмы, смоковницы; виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника; на нивах есть и пшеница, но больше рис». — «Что ж это за земля?» — «Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы». На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна; дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный и широкий залив; на юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек. «Но мы в центре пустыни?» — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни; а теперь, как видишь, все пространство с севера, от той большой реки на северо-востоке, уже обращено в

благодатнейшую землю, в землю такую же, какою была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она «кипит молоком и медом». Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства, горная часть полуострова еще остается песчаною бесплодною степью, какою был в твое время весь полуостров; с каждым годом люди, вы, русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах: всем и много места, и довольно работы, и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет, по всему пространству стоят, как на севере, громадные здания, в трех, в четырех верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице». — «Спустимся к одному из них», — говорит старшая сестра.

Такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые. «Они потому из алюминия, — говорит старшая сестра, — что здесь ведь очень тепло, белое меньше разгорячается на солнце, что несколько дороже чугуна, но по-здешнему удобнее». Но вот что они еще придумали: на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких, чрезвычайно высоких столбов, и на них, высоко над дворцом, над всем дворцом и на полверсты вокруг него растянут белый полог. «Он постоянно обрызгивается водою, — говорит старшая сестра: — видишь, из каждой колонны подымается выше полога маленький фонтан, разлетающийся дождем вокруг, поэтому жить здесь прохладно; ты видишь, они изменяют температуру, как хотят». — «А кому нравится зной и яркое здешнее солнце?» — «Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно; я к тому веду, я все для этого только и работаю». — «Значит, остались и города для тех, кому

нравится в городах?» — «Не очень много таких людей; городов осталось меньше прежнего, — почти только для того, чтобы быть центрами сношений и перевозки товаров, у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия; большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда, на недолгое время». — «Но кто хочет постоянно жить в них?» — «Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах, — кому ж какое дело? кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь; только огромнейшее большинство, 99 человек из 100, живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но иди же во дворец, уж довольно поздний вечер, пора смотреть на них».

«Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось?» — «Что?» — «То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы проводим две трети нашего года». — «Как это сделалось? да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год, и не в десять лет, я постепенно подвигала дело. С северо-востока, от берегов большой реки, с северо-запада, от прибрежья большого моря, — у них так много таких сильных машин, — возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе; шли вперед шаг за шагом, по нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь всё идут больше на юг, что ж тут особенного? Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или и прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно, они были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными, но я учила и учила

их; а когда они стали понимать, исполнять было уже не трудно. Я не требую ничего трудного, ты знаешь. Ты кое-что делаешь по-моему, для меня, — разве это дурно?» — «Нет». — «Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую, разве у вас было много средств? разве больше, чем у других?» — «Нет, какие ж у нас были средства?» — «А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радостей жизни, во сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства». — «Так, так; я это знаю». — «Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты».

Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье, прошло уж три часа после заката солнца: самая пора веселья. Как ярко освещен зал, чем же? — нигде не видно ни канделябров, ни люстр; ах вот что! — в куполе зала большая площадка из матового стекла, через нее льется свет, — конечно, такой он и должен быть: совершенно, как солнечный, белый, яркий и мягкий, — ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше. «И бывает, когда приезжают гости, — говорит светлая красавица, — бывает и больше». — «Так что ж это? разве не бал? Это разве простой будничный вечер?» — «Конечно». — «А по-нынешнему, это был бы придворный бал, как роскошна одежда женщин, да, другие времена, это видно и по покрою платья. Есть несколько дам и в нашем платье,

но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки; да, они дурачатся, шутят над своим костюмом; на других другие, самые разнообразные костюмы, разных восточных и южных покроев, все они грациознее нашего; но преобладает костюм, похожий на тот, какой носили гречанки в изящнейшее время Афин, — очень легкий и свободный, и на мужчинах тоже широкое, длинное платье без талии, что-то вроде мантий, иматиев; видно, что это обыкновенный домашний костюм их, как это платье скромно и прекрасно! Как мягко и изящно обрисовывает оно формы, как возвышает оно грациозность движений! И какой оркестр, более ста артистов и артисток, но особенно, какой хор!» — «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же: образ жизни не тот, очень здоровый и вместе изящный, потому и грудь лучше, и голос лучше», — говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются: одни уходят, другие становятся на их место, — они уходят танцевать, они приходят из танцующих.

<...> Здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя; здесь только воспоминания вольного труда в охоту, довольства, добра и наслаждения, здесь и ожидания только все того же впереди. Какое же сравнение! И опять: у наших рабочих людей нервы только крепки, потому способны выдерживать много веселья, но они у них грубы, не восприимчивы. А здесь: нервы и крепки, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас; приготовленность к веселью, здоровая, сильная жажда его, какой нет у нас, какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом, в этих людях соединяется со всею тонкостью ощущений, какая есть в нас; они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей: понятно, что их веселье, что их наслаждение, их

страсть — все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди!

Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслажденья! Как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения, — счастливцы, счастливцы!

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Эстетические отношения искусства к действительности» (дано в сокращении) — диссертация Н. Г. Чернышевского.

В диссертации изложено последовательное материалистическое представление о прекрасном, возвышенном, трагическом и комическом, об отношении искусства к действительности, о познавательном и воспитательном значении искусства и литературы. Когда диссертация вышла из печати отдельной книжкой, Чернышевский поместил в журнале «Современник» написанную им самим рецензию на нее (авторецензия), дополнив и разъяснив некоторые важные идеи диссертации. Кроме этих работ, Чернышевским написано еще несколько важных статей и рецензий по вопросам эстетики: «О поэзии. Сочинение Аристотеля», «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность», «Критический взгляд на современные эстетические понятия», «Возвышенное и комическое», «Предисловие к третьему изданию «Эстетических отношений искусства к действительности» и др.

[2] Из баллады В. А. Жуковского «Алина и Альсим».

[3] Чернышевский имеет в виду упреки, которые делала идеалистическая эстетика (Гегель, Фишер и др.) красоте реальной жизни. Идеалистическая эстетика считала (и ныне считает), что красота, прекрасное не являются свойствами реальной жизни, а порождаются «духом», или «ощущениями», вносятся в жизнь искусством. Основным авторитетом в области идеалистической эстетики в то время, когда писал Чернышевский свою диссертацию, был великий немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831). Чернышевский указал на то ценное, что было в гегелевской эстетике, и вместе с тем подверг принципиальной критике ее научные идеалистические основы.

[4, 5] Здесь Чернышевский приводит сокращенные и не совсем точные цитаты из «Введения» к «Лекциям по эстетике» Гегеля.

[6] То есть связано с учением Гегеля о диалектике и с материалистической философией Фейербаха.

[7] Современная наука подтвердила правильность предположения Чернышевского: «Демокрит дает новый оттенок термину «подражание» (см. «История эстетики». Т. 1. М., «Акад. художеств СССР», 1962, с. 18).

[8] Мимезис — подражание *(греч).*

[9] Компендиум *(латин.)* — сжатое изложение какой-нибудь науки.

[10] arrière-pensée — задняя мысль *(франц.).*

[11] Будучи студентом Петербургского университета, Чернышевский с 1848 года и до окончания университета жил вместе с Терсинскими — Иваном Григорьевичем и Любовью Николаевной. Любовь Николаевна («Любинька») — двоюродная сестра Чернышевского. И. Г. Терсинский, муж Любиньки, был профессором богословия в Саратовской семинарии, затем перешел на гражданскую службу. Переехав после женитьбы в Петербург, служил в сенате, в министерстве государственных имуществ и, наконец, обер-секретарем синода. Как видно из «Дневника», студент Чернышевский часто спорил с И. Г. Терсинским по важным вопросам общественной жизни, политики и литературы.

[12] Débats «Journal des Débats» — «Журнал прений» — парижская ежедневная газета. Из нее Чернышевский черпал сведения о революционных событиях 1848 года во Франции, но, как отмечал он, «не соглашаюсь с ними во взглядах на предметы совершенно».

[13] Рождественский Олимп Яковлевич — саратовец, служил чиновником в Петербурге.

[14] В ночь на 23 апреля 1849 года царское правительство арестовало основную группу петрашевцев. Чернышевский был в тесных отношениях с одним из активных деятелей кружка петрашевцев, с Ханыковым А. В. (1825—1853). В «Дневниках» неоднократно упоминается это имя, о нем говорится, что это «человек умный, убежденный, много знающий». Ханыков знакомил Чернышевского с новыми политическими идеями, с учением Фурье. Об аресте петрашевцев Чернышевский узнал от своего родственника — Раева Александра Федоровича (в «Дневнике»: Ал. Фед.), с которым в первые годы учения жил на одной квартире в Петербурге.

[15] Должно выслушать и другую сторону *(латин.).*

[16] Изменив то, что надлежит изменить *(латин.).*

[17] Роман «Пролог» написан Н. Г. Чернышевским в сибирской ссылке. В 1871 году рукопись романа он послал своей жене О. С. Чернышевской. Впервые в 1877 году первая часть романа «Пролог» была издана на русском языке в Лондоне П. Л. Лавровым по копии, сделанной М. Д. Муравским, который отбывал ссылку вместе с Чернышевским в Александровском Заводе. В России роман был опубликован в 1906 году в Полном собрании сочинений, подготовленном сыном Чернышевского Михаилом Николаевичем.

Этот роман важен как единственное художественное произведение о вождях русской революционной крестьянской демократии, написанное одним из этих вождей. «Пролог», несомненно, автобиографическое произведение. Характерные черты героя романа Волгина — это черты личности самого писателя; идеалы, стремления, политическое поведение Волгина — это идеалы, стремления и самого писателя; отношения между Волгиным и Волгиной во многом повторяют отношения между Н. Г. Чернышевским и О. С. Чернышевской.

Сам Чернышевский указывал на эту особенность своего нового романа. Читатели увидели и узнали тех реальных людей, которых имел в виду писатель, создавая образы своего романа. П. Л. Лавров опубликовал роман, не указав имени автора, чтобы не дать в руки царских властей материалы против великого революционера. Только после смерти Чернышевского Г. В. Плеханов в статье о нем (1890) печатно назвал автора «Пролога» и цитировал суждения Волгина как высказывания самого романиста. По этой статье Плеханова цитировал роман Чернышевского В. И. Ленин в своей знаменитой работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»

[18] В образе Левицкого отражены характерные черты личности и убеждений Н. А. Добролюбова, отмечены и некоторые существенные факты из его биографии.

[19] «Я слышала раз, — довольно». — Здесь Чернышевский имеет в виду свое объяснение с Ольгой Сократовной перед женитьбой. Он говорил, что у него судьба революционера, что он может быть взят властями в любой момент и заточен в крепость, что ему поэтому нельзя соединять свою жизнь с жизнью другого человека.

[20] В этой главе Чернышевский ярко обрисовал типы царских бюрократов, увешанных звездами, которые всеми силами стремятся сорвать крестьянскую реформу, сохранить крепостнические порядки, а крестьян усмирить военной силой. Занимая ответственные посты, царские чиновники живут в атмосфере взаимной ненависти, зависти, подсиживания и соперничества. Подхалимство, угодничество, утрата человеческого достоинства, желание польстить, выказать наибольшую преданность высшему по чину бюрократу, хотя бы он был полным ничтожеством, — такова мораль верных слуг его императорского величества. Ради карьеры эти люди готовы на любую подлость и низость. В описываемом эпизоде Савелов, чтобы убрать своего начальника, Петра Степаныча, и занять его место, готов пожертвовать честью и достоинством своей жены, требуя от нее определенного отношения к высшему начальству, к Чаплину. В лице Чаплина, в его повадках мясника, развратника, избалованного своим высоким положением, тупицы, не способного ни на какую самостоятельную мысль, Чернышевский показал обобщенный

тип государственного бюрократа. Но, создавая этот образ, писатель имел в виду и реального государственного деятеля той поры — М. Н. Муравьева, прозванного «вешателем» за его кровавые расправы с польским освободительным движением 1863—1864 годов. В период крестьянской реформы Муравьев занимал крайне реакционную позицию.

[21] Этот план социалистического устройства, план «товарищества трудящихся в производстве» дважды изложен в работах Чернышевского: первый раз — в статье «Капитал и труд» («Современник», 1860 г.), второй — в «Очерках из политической экономии (по Миллю)» («Современник», 1861 г.), он нашел также художественное отражение в романе «Что делать?» (описание мастерской Веры Павловны).

Н. Г. Чернышевский перевел с английского на русский книгу английского экономиста Дж. Стюарта Милля «Основания политической экономии», сопроводил ее своими примечаниями и опубликовал в журнале «Современник». Кроме того, он написал «Очерки из политической экономии (по Миллю)». Об этой работе очень высоко отозвался К. Маркс.

СОДЕРЖАНИЕ

25 коп.



ХОРОША ЖИЗНЬ, НО САМОЕ ЛУЧШЕЕ СЧАСТЬЕ, НЕ ПОЖАЛЕТЬ, ЕСЛИ НАДОБНО, И САМОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ!

Н. Г. Чернышевский

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

